



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.

G 3948

5A15

1901

v. 2



INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY

281

Taras Shevchenko

Т. Г. Шевченко.

Povisti

ПОВИСТИ.

Томъ 2-й.

1. 2

КІЕВЪ.

Типографія Петра Барскаго, Крещатикъ, собствен. домъ, № 40.
1901.

PG 3948
. S5 A15
1901
V. 2

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 10 Марта 1901 года.

INDIAN UNIVERSITY LIBRARY

3-9-61



ОГЛАВЪ.

Капытанша	3.
Музыка	94.
Княгыня	197.

Капитанша.

Року 1845-го, колы ото велька повидь зруйнувала половыну Кремынчука, а Крюкивъ проте лышывся непошкожденымъ, а въ Къиви вода досягла навить Братського монастыря,—такъ отъ того самого крытычного року, пидъ кинецъ мисяця марця, выйхавъ я изъ Москвы тульськымъ, тоди тилько що выкиченымъ, буркамъ.

Йихавъ я—отъ вы на се уважайте!—почтовыми киньмы и визкомъ; два тыжни до Тулы йихавъ я, та тыждень до Орла,—выходыть ажъ тры тыжни! А вже чого тильки я не натерпився за отси тры тыжни, такъ жадне перо того не спыше! Сказаты тильки те всимъ, що я, знаючы не зъ опысу якого-будь турыста, а такы зъ власного досвиду, скильки коштуе на почтовій станціи полумысокъ борщу та шматокъ хлиба, и практично знаючы комфортъ почтовыхъ станцій, выйздячы зъ Москвы, чымалый такы кошукъ набравъ усякыхъ солоныхъ та копченыхъ харчивъ. Такъ що-жъ? Усе те добро мусивъ кынуты на другій станціи, се-бъ-то въ Подольському, бо все те, такы жъ у-купи зо мною, порынало килька разивъ въ брудній води зъ снигу. Добророзумъ вымагавъ вернутысь въ Москву;

такъ пиды жъ ты, балакай зъ упертою головою! А я такы, мижъ намы кажучы, въ отсій „добродители,“ себъ-то въ упертости, яку мы зъ ввичливосты называемо сылою воли, позадъ своихъ землякивъ не лышывся.... Такъ ото и подорожувавъ я видъ Подольскаго до Тулы на харчахъ св. Антонія, а тамъ, зъ Тулы до Орла, на тыхъ самыхъ харчахъ; бо хочъ Тула й славетня рушныцями та гармоніямы, а ковбасньою проте похвастатись не може. Ну, тилькы й добувъ я въ Тули,—та й то трудно було,—що солоного ляща, завезеного зъ берегивъ Дону, колы не зъ берегивъ рикы Уралу або Волгы. Отъ зъ отакымъ-то провіантомъ я й дойхавъ до Орла. Ставъ я було въ готелю, тутъ же бия почтовой станціи, та другого дня якъ зрачувавъ вси кошты,—тилькы жахнувся: всього-на-всього лышылося у мене въ кышени тры карбованци та дрибныци два четвертакты! Эге, а зъ Москвы то взявъ я зъ собою цилу сотню карбованцивъ! Якъ такы зъ такою сумою не дойхаты одъ Москвы до Кыива? А отже такъ сталосся, що дойхавъ тилькы до Орла, а тутъ, себъ-то въ Орли, и сивъ, наче ракъ той, на мильни. Добре такы я замыслывся, та по довгимъ миркуванню й пишовъ шукаты зайиздного двору. Зновъ беда: рикы Ока та Орлыкъ затопылы не те що вси зайизды, а й бильшу частыну всього миста. Вернувся я въ свій номеръ ще сумнищый, нижъ ишовъ, сивъ бия викна, та й думая. Дывлюсь на двирь: вулицею плуганяться запряжена парокинъ поганенькыхъ коненятъ велька балагула, а побикъ неи йде зъ батижкомъ

у рукахъ невельчкый на зрисьть, пузатенькый, зъ рыхою боридкою чоловичокъ. „Ага, прятелю!“ самъ соби гадаю, „отъ тебе то мени й треба!“ Видчынывъ я викно та й гукаю:

— Гей, чоловиче! молодчно!

Чоловичокъ зупынывся, знявъ шапку, подывывсь на викно въ готелю, угледивъ мене та й пытае:

— Се ты, пане, гукавъ?

— Я.

— А що тобі треба?—пытае.

— А отъ що. Ты фурманъ?

— Та вже жъ!

— А зъ якои губернии?

— Тутешной, пане, а повиту дмытривського.

— А чы не хотивъ бы ты, голубе, на святкахъ дома побуваты? (Се було на шостому тыжни великого посту).

— Якъ же не хотиты, пане? Звисно, хотивъ-бы; та якъ його впорожни самому йихаты?

— А хочешъ, я тобі пройизжого знайду до Глухова?

— Та якъ же не хотиты? Та про мене, хочъ бы й до Москвы!

— Та чы знаешъ ты Глухивъ?

— Ще-бъ не знаты? За Дмытривськымъ! Доводылося не разъ и въ Кыиви буваты.

— А дорого-жъ визьмешъ?

— Отъ пуда, пане, чы якъ?

— Та хочъ и одъ пуда.

— По два зъ половиною, пане!
 — Добре, гараздъ; тилькы-жъ щобъ гроши въ Глухови....

— Та задаточку-бъ, пане!...

— Та въ Глухови и задаточокъ буде!

Чоловичокъ почухавъ потылицю, подывився на мене трохи та й пытає:

— А колы жъ, пане, йихаты?

— Та, про мене, хочъ и заразъ!

— Заразъ, пане, не можна: коненятъ трохи пидгодувати треба.

— Такъ де жъ ты ихъ годуватимешъ? Де тебе шукаты?

— Та такы жъ тутъ, на вулицы. Бачъ, позалывало уси зайиздни двory водою; де-жъ його погодуешъ?

Та такъ балакаючи, винъ пидвернувъ коней до паркану та й почавъ роспрягаты.

Выйшовъ я до його на вулицю, обдывивсь визъ. Визокъ бувъ добрячий, мисткий, увесь вкрытый, наче жывивська брычка.

— Якый же ты крамъ возышь на такой отсе посудыни?—пытаю його.

— Та якый! Теперъ отъ хочъ бы й вашу мылость повезу, а сюды якусь панію привизъ зъ Дмитривського; до дитокъ, чы що, прыйихала,—у якійсь школи чы въ корпуси, каже. Ну, та вже що й злюча жъ,—Господь зъ нею! тилькы у неи и дила того, що зъ дивкою бьеться.

— Ну, а якъ: сьогоня выйидемъ, чы ни?

Чоловикъ поглянувъ на сонце та й каже:

— Краще, пане, переночуємо.

— Про мене, переночуємо,—кажу я, та й пишовъ зъ нечевъя блукаты по мисту.

Иду повзъ крамничку зъ тютюномъ; у विकни выставлени пачкы тютюну зъ усякымы на ныхъ малюнкамы и гармонія. Усякои всячыны багато въ мой мандривци мени не вбачалося: дай лышь, думаю соби, куплю гармонію—буду хочъ дитей по дворахъ тишыты. Купывъ я гармонію, та й вернувсь на кватыру, та потимъ, видпочывшы видъ гулянкы, и завдавъ соби таке пытання: а що, колы въ мого глухивського прыятеля, на котрого я покладався, якъ на каминный муръ, грошей не трапыться? що я тоди робытуму? Певно, въ Глухови йе въ мене ще й другый прытель; на його можна маты певну надію; винъ самои фарфоровои глыны продае тысячивъ на сотню за рикъ; такъ чому на його не надіятись? Але въ тимъ сыла, що винъ панъ на всю губу, якъ тамъ кажуть; до обиду въ нього не можна выйти ни въ чому бильшь, опричь фрака,—такъ се то мени й не подобалось. Воно такы й справди чудно жыты въ сели й що-дня прыбираться,—чортъ зна що! Ну, ще зрозумило, колы у кого похороны або весилля, чы тамъ яке инше свято въ родыни; а якъ такъ, то се вже бильшь не що, якъ дурне услидованя англійського лордства.

Такъ я, помизкувавши довгый часъ, папысавъ лысть у Кыивъ, просячы, щобъ послалы до мене въ Глухивъ грошей, а адресувалы щобъ не на того пры-

ителя, що торгує фарфоровою глыною, а на ймення його сусиды, такого то ретмыстра одставного.

Обладнавшы все, якъ и слидъ путньому чоловікови, другого дня, до схида сонця, упакувавшысь на вози, я въ гаразди й добрався до зайиздного двору за двадцять п'ять верстъ видъ Орла. Тутъ бы було якъ-разъ до дила описаты зъ усима можлывыми подробыцями зайиздний двиръ; та колы отсю *tableau de genre* описувавъ уже багато де-хто, не тилькы прозою, а навить и виршамы, то я вже й не насмилююсь змагатысь ни зъ кымъ зъ тыхъ гулящихъ пысьменныкывъ, ни навить зъ самымъ гомеровськымъ описомъ виршамы зайиздного двору, надрукованымъ, не згадаю въ якій часопыси, що тамъ поривнюють описъ той зъ Иліадою.

Въ Кромы прыйихали мы въ-ночи, а выйихали—ще й не днило; тымъ-то про мисто Кромы нема чого мени й казаты, хиба тилькы те, що за полумысокъ писного борщу взяли зъ мене коповыка грошей,—власне за те, що я раньше не поторгувався. Отъ и все, що я можу сказаты про Кромы.

Сонце вже высоченько пидбылося, якъ я прокынувся въ своимъ фургоны. Прокынувся я, высунувъ голову, подыввсь на свить Божый, та й пытаю Ермолая (се такъ звали мого фурмана), чы далеко до зайиздного дому.

— А отъ — каже — спустымось за горбокъ, то й зайиздъ буде.

Позырнувъ я навкругы,—думавъ, що й справди побачу де хочъ маленький горбокъ,—ажъ ничогисинько:

ривнына, самисинька тобі одноманитна ривнына, пере-
крайна чорною смужкою поштового шляху, обтыканого
де-не-де ракытою та смужастымы перыстымы стовпамы, що
звуться верствамы.

Крайовыдъ, правду кажучы, такой, що не поза-
выдуешъ; а ще колы узяты на увагу мою мандривку
проквильну, то й скучнымъ навить здається. Що ты
робытымешъ? Чытаты ничого, думаты ни про що (тоди
ще я не складавъ оповиданъ). Отъ я полежу, полежу
въ фургоны, та й вылізу зъ нього, пройду верству—
дви, та й зновъ въ фургонъ; пограю на гармоніи, а
Ермолай потанцюе (винъ слые на козла й не сидавъ:
все йде соби биля коненяты). То се, колы я заграю
соби на гармоніи, то винъ и пиде танцюваты,—спершу
злегенька, дали швыдче; а колы розибрало його, такъ,
повернувшысь до мене, винъ майже крычыть:

— Липше, пане, липше!

Я йому липше й заграю, а винъ липше танцюе;
а тымъ часомъ глянь—и зайиздъ.

Отакъ мы зъ Ермолаемъ й караталы и часть, и до-
рогу до самои Эсмани (перша станція въ Черныгивъ).
Ледве перейихалы между Орловської губерніи, якъ уже
й декорація зминьлась: замість ракыты, по-надъ доро-
гою красуються высоки розлоги вербы; вже въ пер-
шимъ сели Черныгивщыны хаткы биленьки, укриты со-
ломою, зъ дымарямы, а не сири, рублени и необма-
зани хаты; одежа, мова, тварь—усе, якъ есть, инше.
Уся ота одмина стае на протязи двадцаты верстовъ; за
одну годыну вы вже почуваете себе немовъ у другій

атмосфери; що—до мене, то я почувавъ себе такъ коженъ разъ, колы доводилось йихаты отсію дорогою. Йидучы зъ Кыива черезъ Черныгивъ, хочъ и почувашъ себе по той бикъ Десны уже не на Вкраини, але тамъ все-жъ йе хочъ слабенька интонація; а що мижъ Эсманю й Глуховымъ, то ажъ ніякисинькои. Верстовъ за дви, чы за тры за Эсманю побачывъ я вправоручъ недалеко видъ шляху уже не сирый рублений, зъ высокою брамою, зайиздъ, а билу пидъ соломьяною покривлею коршму пидъ вербами. Выдъ тіеи коршмы нагадавъ мени писню, що чувъ я ще дытною:

Ой у поли верба,—

Пидъ вербою коршма.

Завыдна ще можна бъ було дойихаты до Глухова, але коршма такъ мени уподобалось, що я прохавъ Ермолая стати тутъ на ничлигъ, до чого винъ залюбки згодывся, бо въ коршми, якъ винъ казавъ, усе дешевше, ніжъ у мисти.

Поривнявшысь зъ коршмою, зупынылысь мы. Бачу, чоловікъ стоить и на насъ жадной увагы не звертае. Одягнений винъ бувъ якось чудно: у сиру салдатську шынелю, пидперезаний, замисць поясомъ, соломьянымъ перевесломъ, въ чорній смушевій шапци и зъ граблями въ рукахъ. Вылизъ я зъ балагулы, пидійшовъ до нього та й пытаю:

— Ты хазяинъ?

— Авжежъ, хазяинъ,—видповивъ винъ, ледве тилькы скынувшы на мене окомъ.

— Ну, а сино въ тебе йе?

- Авжежъ, ѳе.
- И овесъ ѳе?
- Авжежъ, ѳе.
- А повечеряты буде що?
- Авжежъ, буде.

Потимъ чоловикъ той повернувся до мого фурмана и зовсимъ не ласкаво мовивъ до ѳого:

— Чого-жъ ты стоишь тамъ, гаво московська? чомъ не зайиздышь?—и самъ пишовъ одчыннаты браму коршмы. Мени вповодобався орыгинальный землякъ, яко орандаръ зайизду на велькимъ шляху, особльво писля орловськихъ орандаривъ, що зустричають тебе за пивъ версты знявшы шапку, кланяються, божаться, що въ ныхъ все ѳе, окримъ пташыного молока,—а на дили буде тилькы овесъ та гныле сину; а повечеряты, чы побидаты, нзѳаче у велькый пистъ, и не думай: дадутъ тоби боршу зъ смердячою олією та ѳ здеруть коповыка грошей, колы раньше не поторгуешся. Покры неохочый до балачкы хазяинъ одчыннать та зачыннать браму, я тымъ часомъ пишовъ трохы розломаты ноги, що стерплы видъ довгой сядни.

Коршма була гарно выбилена, а билия виконъ пидведено червонасто-жовтою глыною; прыстроени до неи повиткы, чы т. зв. стодола, тежъ чепурно вымазана жовтою глыною; взагали по выду коршмы знаты було, що черезъ килькы день у людей буде вельке свято. По другой бикъ коршмы выдно було тынь, що стоявъ якъ-разъ билия будивли. Я наблызвся: за тыномъ дви бабы копалы грядкы,—одна щось розказувала, а друга такъ

дзвинко та просто сміялась, що я й самъ мимохить зареготавъ. Та, що розказувала, була молодыця не першою вже молодости; а та, що сміялась, тилькы що розцвила чорнобрыва красуня; здавалося, вона доня старійшою, а не подруга. Не встыгъ я роздывытысь якъ слидъ на ныхъ та послухаты смиху гармоничного красунитіен, якъ зъ-за прычилка вийшовъ хазяинъ и поклякавъ ихъ у хату варыты вечерю. Я й соби за нымы въ хату. Биля дверей зустрився я зъ хазяиномъ. Винъ побажавъ мени доброго здоровья и запрохавъ до свитлицы. Я ввійшовъ въ простору, гарно выбилену хату, роздилену вповоджъ, немовъ стиною, кахольною грубою. (Быронивщина). Кругомъ по-пидъ стинамы стоялы лавкы або ослоны, а мижъ нымы дубовый, гарно вымытый стиль; на покути высивъ образъ, затыканий свижою вербою та сухою мятою й васылькамы.

— Сидайте, просымо,—промовывъ хазяинъ, скидаючи шапку:—Здесь мы самы живемо,—додавъ винъ,—а для такого народу—у насъ йе друга хата.

— А шо, пане господарю,—пытаю його, сидаючи на лавку:—можна у васъ розжытысь на горилку?

— Чому-жъ не можна! Вамъ пивъ кварта, чы всю кварту?—спытавъ винъ.

— Та хочъ пивъ кварта на першый разъ.

— Добре,—сказавъ винъ и пишовъ зъ хаты.

Скоро винъ вернувся зъ чаркою й графыномъ, а за нымъ йшла зъ полумыскомъ й рушныкомъ у рукахъ весела городныця. То була на-пречудо хороша чорнява дивчына, рокивъ шиснадцята або пьятнадцята, струн-

ка та гнучка, якъ молода тополя; волосся її густе, блискуче, пов'язане було оксамитовою стричкою и заквітчане свижимъ зеленимъ барвинкомъ. Вона застлала рушныкомъ край столу, постановила полумысокъ зъ якоюсь солоною рибою, положила на стилъ дви скыбки пшенишного хлиба, усмихнулась и вийшла зъ хаты. Провившы очыма красуню, я повернувся до хазяина:

— А що, земляче, чы не выпыты намъ по чарци горилкы?

— То чому-жъ не выпыты?—одповивъ винъ, сидючи на ослони.

Выпивъ я горилкы, почастувавъ и хазяина; трохи згодомъ, ще разъ почастувавши його, и пытаю:

— Здається, панъ господарь служывъ у москаляхъ?

— Авжежъ, служывъ.

— То-то ты такъ знатно по московському балакаешъ!

— Отакъ пакъ! Шість рокивъ стоялы у Володымырській губернії, та щобъ не выучытысь балакаты по московському!

Добряга не спостеригъ мого жарту. Я йому за те ще чарку горилкы насыпавъ.

— Мабуть и пидъ француза ходывъ, думка моя?

Про се спытавъ я тымъ, що примитывъ голубу стежечку, нашыту на шынели у його.

— Авжежъ, ходывъ,—видповивъ винъ.

— Чымало-жъ мабуть ты ихъ, проклятыхъ, насадивъ на штыкъ?

— Ажъ ни йедного!

— Якъ же се такъ сталося?—не безъ здывування пытаю його.

— Я бувъ у музыкахъ,—видповивъ винъ.

Се мене ще бильшь здывувало, бо на твари у його та взагали въ рукахъ не примитно було ничего такого, зъ чого бъ можна було пизнаты виртуоза.

— А на чому-жь ты гравъ?—пытаю його.

— На барабани,—видповивъ винъ, не миняючы речи.

„Та й на тимъ гучнимъ струменти ледве чы видзначывся ты!“—подумавъ я, дывлючысь на його чесный та выразный профилъ; а винъ сыдивъ соби на ослони и, зигнувшысь, дрыгавъ ногами, такъ наче та мала дытына. Я гадавъ соби, та такы й не безъ прыводу, що почую видъ нього про яки-небудь лыцарськи подіи въ бояхъ, про яку-будь прыгоду, таку, що про неи ниде ничего не прочытаешъ, навить у „Запискахъ русскаго офицера“, ажъ-ни: винъ бувъ музыкаю та, въ-додачу, ще й не брехуномъ. Але я все ще не кыдавъ надіи вывесты його на оповидання, запросывшы його ще по одній чарци. Винъ охоче згодывся до чарки и, колы винъ полою видъ шынели обтеръ свои били вусы та крякнувъ, я й пытаю його, немовъ бы невмысно:

— А въ немецькыхъ земляхъ та у Франціи такы не довелося буты?

— Довелось. У Франціи, въ самій, два роки стоялы.

— Якъ же ты балакавъ зъ французамы?

— По-французькому, — видказавъ винъ, не запынаючысь, та й каже трохы згодомъ дали:

— Я й по французькому и по немецькому вмію. Ше десятого году, якъ мы вертальсь зпидъ Турка, одиный венгерецъ мене навчывъ, царство йому небесне! Я, казаты правду, по всякому вмію,—додавъ винъ самозадоволено.—Напрыкладъ, таборуемо мы такы пидъ самымъ Парыжемъ: тутъ и прусакъ, тутъ тоби и цисарець, и англчанынъ, якъ той ракъ, червоний, и шведъ сыннопольй (и Богъ його знае, видкиля той шведъ прийшовъ? До самого Парыжу його не видно було, а тутъ—мовъ изъ земли вырись). Отъ, кажуть: Богъ дасть, завтра ввійдемо въ Парыжъ, а тамъ, корадъ, и махенъ вейнъ, и закусымо, корадъ, и мамзельхенъ либеръ, и всього въ-волю. А я холжу соби мижъ нмы, вусы покручую та думаю: не хвалитесь, корады: побачымо, що-зъ того буде! Черезъ день чы черезъ два одяглы насъ, выстроили, перевелы черезъ Парыжъ церемоніяльнымъ маршемъ, не дали й воды напытыся; уже верстовъ двадцять за Парыжемъ дали намъ духъ перевесты. Отъ я пидхожу до цисарця та й кажу до його по цисарьскому:

— А що, корадъ: знатне, кажу, мисто Парыжъ! и вейну, и мамзельхенъ,—всього, кажу, въ-волю!

— Одеръ дейфель!—каже.—Щобъ винъ имъ до гла выгоривъ!

— То-то-жъ,—кажу йому по цисарьскому:—було-бъ не хвалытыся, идучы на рать.

— А якъ, Земляче, чы йе яка-небудъ рижныця мижъ французькою й немецькою мовою? — пытаю його.

— Малность рижници! Та такъ, що, коли вмієшъ добре по нѣмецькому, то й зъ французомъ можна побалакаты; малность рижници!—знову додавъ винъ, покручуючы свои били вусы. Тоди саме одхлылася занависка видъ закутка, и въ хату ввійила зъ свичкою въ рукахъ та сама жинка, що я мелькы бачывъ на городи. Вона була по городянському чепурно одягнена; не молода вже жинка, висока на зрисьть, зъ быстрымы чорными глыбоко впалыми очыма, а взагали зъ прываблывымъ и выразнымъ лицемъ. Вона постановыла на стиль свичку, глянула на мого розмовныка и, удаючысь до мене, промовыла чыстою російською мовою:

— Не частуйте його, будьте ласкави, а то винъ вамъ и одпочты не дасть. Иды лышь краще та лягай спаты,—промовыла вона, удаючысь до нього.

— Мовчы лышь ты, капитанша, ма...—мовывъ мій розмовныкъ и по хвыли додавъ, усмихаючысь:

— Матери твой чарка горилкы!

Мовчы вона подывылася на нього и зновъ пішла за занависку.

— Се жинка твоя?—спытавъ я хазяина.

— Жинка,—видповивъ винъ.

— На що-жъ ты ии капитаншею звешъ?

— Та се я такъ, жартуючы... А правду кажучы, то вона такы йе капитанша, та ще й не проста, а лейбъ-гвардійська!

Але винъ такъ похмуро звисывъ на груди свои били вусы, що кожне питання про капитаншу здавалося мени не на часи, навить и нахабнымъ.

Недовго посыдили мы мовчки, якъ зновъ выйшла та-жъ такы жинка и постановыла на столи юшку зъ якоюсь дрибною рыбкою, дуже смачну. Повечерявъ я, подякувавъ хазяинамъ та й пишовъ у свій фургонъ спаты. Довго я не засыпавъ: оте слово „капитанша“ довго не давало мени спаты. Зо мною таке часто трапляється (та воно, мабуть, и зъ усякимъ тежъ): на якимъ —небудь простимъ слови змалюешъ цілу драматычну фантазію, не згиршъ славетного въ симъ дили поважного Н. К. Такъ и теперъ сталося: слово „капитанша“ подилылося вже у мене надіи, картыны, одмины, и драма затого вже трохи не розвылася въ страшенну катастрофу, колы мои творчи віи почалы злыпаться, а самъ я заснувъ глибокымъ сномъ. Докы мы подорожувалы зъ Орла до отсіей цікавой коршмы, я шо-ранку пресыпався въ дорози. Догадлывий Ермолай николы не будывъ мене, та й низачымъ було будыты. Ще въ Кромахъ, писля дорогого борщу, я давъ йому на дорогу тры корбованци, и винъ усю дорогу й расплачувався за все, що я пывъ и йивъ на кожнимъ зайизди. Я-жъ соби спавъ сномъ праведныка и прокыдався завжды въ дорози. Прокынувшысь, я иноди зновъ засыпавъ, не вважаючы, що колеса стукотять, а визъ колыхає; пресыпався вже на зайизди. Писля нескинченои драмы на тему „капитанша“, другого дня я проснувся вже нерано и самъ соби дывувався: бо не чувъ ни колыхання видъ воза, ни холоду ранкового повітря; прислухався, и не чувъ ничого навкругы себе, навить не чувъ, щобъ колеса стугонилы.

— Хиба жъ такы мы вже станцію перейхалы?—
кажу соби на думци.—Та ни, не може се буты!
Адже жъ мы повинни булы бѣ буты въ мого прытеля
у слободи биля Глухова, а не на зайизднимъ двори.
Воно правда, зъ вечора учора я не розказавъ Ермолаю
дорогы, а винь, дурепа, не розбудывъ мене, якъ вы-
йхалы зъ коршмы. Зъ такою мудрою думкою я було
зновъ задримавъ, але Ермолай, мабутъ, вгадавъ якось
мою думку та, пидійшовшы до воза, й каже:

— Пане! Чуєте, пане!

— А чого, Ермолаю?

— Вы спыте?—пытае.

— Сплю,—кажу.

— Пора вставаты!

— Добре, встаю! А може що таке трапылось?

— Та ни, ничего. Дякуваты Бога, все гараздъ.

— Ну, такъ чого-жъ ты? Обидай соби зъ Богомъ.

— Якый тутъ обидь, пане! У насъ ничымъ и за вчорашню вечеру заплатыты, бо я вси гроши, и свои й
ваши, выдавъ.

— Такъ такы ничего й не зисталося?

— Ни копіечкы!

— Погано,—думаю, а потимъ и пытаю його:—А
кони у тебе нагодовани?

— Кони нагодовани: наймытъ ничего не тямьтъ; що
спытаешъ—усе дае.

— То й добре! Пиды-жъ, скажы йому, щобъ само-
варъ нагривъ; я заразъ прыйду.

Пишовъ Ермолай.

Ото, якъ перейздывъ я Тулу, такъ въ ресторани пидходить до мене якыйсь не дуже тверезый чоловікъ и накыдае нову рушныцю въ одну цивку за тры карбованци. Я, абы-бъ одчепытысь видъ нього, даю йому карбованця. Винъ, не промовывшы ни слова, пишовъ зъ хаты; але трохы згодомъ вернувся и пытае мене, чы я жартую зъ нымъ, чы справди кажу. Я кажу: справди. Подумавъ винъ трохы та й каже: „А колы справди, такъ отъ вамъ рушныця,—давайте гроши“. Одавъ я йому карбованця, а рушныцю поклавъ на столи, навить не подывывшысь добре на неи, якъ на ричъ цилкомъ мени непотрибну. Чы можна-жъ було мени тоди вгадаты, що та рушныця, майже сыломицъ прыдбана, стане мени въ прыгоди, и стане отакымъ робомъ, якый я теперь прызначывъ.

Вылизъ я зъ своеи перейздной видпочывальни, пишовъ до колодезя, умывся, прычепурывся трохы та й пишовъ у хату. На столи стоявъ вже самоваръ, а вчорашня капитанша чыстымъ рушныкомъ вытырала велыку фарфорову чашку чайну. Я прывитався на добрый день, и вона мене прывitala.

— А де-жъ се вашъ господарь?

— А винъ ще зъ-ранку пойхавъ до дидыча, въ якого мы орендуемо отсю коршму.

— А якъ прывыше того дидыча? Далеко винъ вид-силъ живе?

— Одставный ротмистеръ Н. Н., живе майже биля самого миста.

— Такъ се жъ и йесть мій приятель, йедына моя на-
дія,—думаю соби, та удаючысь до хазяйки, пытаю, якъ
вона гадае: скоро іи господарь вернется?

— Та думка, що скоро, колы не загае Викторь Оле-
ксандровычъ: йому тамъ ничего довго роботы—вид-
даты гроши та бочку горилкы взяты. Та вамъ чого-жъ
його чекаты,—можна й зо мною расплатытыся.

— Въ тому то й сыла, що не можна,—кажу соби
на думци, а въ голосъ мовывъ:—та мени бъ ще разъ
хотилося його побачыты та побалакаты; винъ, здається,
добрый дидусь.

— Прекрасна винъ людына!—видповила вона, пры-
митно хвлюючысь.

— Шкода буде, колы я його не диждусь. Та мени,
правда, поспишаты никуды. Чы не хочете зо мною ча-
шочку чаю выпыты?

— Шыро дякую! Мы вже пылы чай,—видповила
вона, злегенька наклонившысь головою.

Незвычайно вподобалысь мени въ отій молодыци
простій іи прости, але граціозни руки и бездоганна
чыстота, почынаючы зъ платка и до черевыкивъ. Закымъ
я миркувавъ, чымъ бы іи загааты въ хати, вона згор-
нула рушныкъ, положила його на стиль, а сама выйшла
за зановиску.

Напывшысь чаю, выйшовъ я зъ хаты полюбо-
ватысь веснянымъ ранкомъ; але винъ уже зныкъ у
предвичности, а на його мисце наступыло квітеньске
прекрасне тепле пивдня.

Обійшовъ я кругомъ коршму та й зупинився біля тыну. За тыномъ, якъ и вчора, мои хазяйки копали грядки.

— Я питаю у старійшої:

— Що отсе, ваша доня?

— Эге,—видповіла вона якось несміло.

— А якъ її зовуть?

— Оленою.

— Олено!—повернувся я до дівчини,—ты вмієш грати на гармоніі?

— Ни, не вмію,—видповіла вона спыняючысь.

— Хочешъ, я тебе навчу.

— А де-жъ вы гармоніі визьмете?

— Се вже не твое дило; хочешъ навчытысь?

Хочу, навчить,—каже вона, почервонившы.

Вынись я гармонію, и лекція почалась.

Стало знаты, що учениця спосибна. Маты її оче-
вдячки радила тому.

А мы зъ такимъ усердымъ трудылся за гармо-
нією, що не помитылы, колы й орендаръ прыйхавъ
до-дому, та, наблыжаючысь до насъ, гукнувъ:

— Оттака ловысь! Добри люде до плащаныци зна-
менуються, а воны отъ що выробляють!—Та, пидій-
шовшы до мене, узявъ у мене зъ рукъ гармонію, по-
вертивъ її та й каже:

— Славна штука! Де вы її купылы?

— Въ Орли,—кажу.

— А дорого?—пытае, вертаючы мени гармонію.

— Карбованця давъ.

— Гмъ... А ну, заграй, Олено!

Я подавъ дивчынн гармонію; вона взяла на ній де-кількы акордивъ. Старый усмихнувся та, повертаючысь до мене, й пытає:

— Чы не продажня у васъ отся музыка?

— Продать то ии—не продамъ, а колы хоче Олена, то я ий сю музыку подарую. А ты, старый, колы хочешъ, купы у мене рушныцю.

Старый замыслывся, а я йому дали:

— Рушныця гарна, справжня тульська!

— Та на-чорта вона мени—ваша тульська рушныця, колы я зъ неи й стрилыты не вмюю.

Я поклыкавъ його на бикъ та й кажу йому, въ чимъ дило. Винъ послухавъ мене, усмихнувся та й каже весело:

— Олено, музыка наша! Несы въ хату!

— Тилькы-жъ, чуєте,—додавъ я,—гармонію я дарую, а не продаю.

— Добре, добре!—весело гомонивъ старый.—Просьмо мылосты въ хату! Идите и вы, хазяйки мои нечепурни,—додавъ винъ до жинокъ.

Покынули вони грядкы та юрбою уси й пишы въ хату. Попереду поважно йшовъ гашъ хазяинъ. Винъ бувъ одягнений не по вчорашньому вже, въ салдатську шынелю, а въ сыній жупанъ зъ тонкого сукна, пидперезаний шырокомъ червонимъ поясомъ и въ чорній высокій смушевій шапци. Въ сьому убранни винъ здавався стародавнимъ украинськымъ мищаныномъ або-жъ заможнымъ козакомъ.

Идучы я нышкомъ сказавъ Ермолаю, щобъ запрягавъ коней; а, ввійшовшы въ хату, спытавъ хазяина, чы заставъ винъ дома Виктора Александровыча. Винъ мени одповивъ такъ, якъ на саме звычайне питання, що заставъ, и що той збирається до якогось сусиды на святкы.

— Сказано, бурлака, людына самотня, то йому й святе—не въ свято,—лодавъ хазяинъ:—Усього въ нього наварено, напчено, наготовлено, а пообидаты ни зъ кымъ. А вы, добродію, жонати, чы ни?—пытавъ мене.

Я одповивъ, що ни.

— Жениться, добродію, невидминно жениться, бо нудно буде старытсья одынокому.

Закымъ мы такъ балакалы зъ хазяиномъ, хазяйка застылала стилъ, а Олена за занавискою грала на гармоніи. Колы вже горилка й закуска булы на столи, у хату ввійшовъ Ермолай та й каже, що кони готови вже. Я звеливъ йому прынести рушныцю, а тымъ часомъ роспытувавъ, якъ блызше пройихаты до Виктора Александровыча. Хазяинъ, розсказавшы мени зъ усима подробыцями дорогу, запросивъ выпыты чарку горилкы та закусыты на дорогу. Я подякувавъ, указуючы на велькодну суботу, а справди черезъ те, що було ше дуже рано. Хазяинъ не схотивъ браты моеи рушныцы, и ставъ даваты гроши за гармонію. Я, рэзуміеться, тежъ не згожувався. Вони зъ жинкою все-жъ такы прыпрошувалы мене выпыты та закусыты на дорогу, додаючы, що Богъ простытъ подорожньому чоловікови и т. и.; але-жъ я не пиддався ихъ доказамъ, попрошавсь зъ

нымы, якъ зъ давними знайомымы, и пойихавъ шукаты хутору Виктора Александровыча.

Не доиздячы верстовъ зо дви до Глухова, вправо-ручъ одъ шляху чорніе невеличкый березовый гайокъ, а до того гайка повылась вузенька дорижка. Вона то й довела прямо на хутирѣ Виктора Александровыча.

Хутирѣ Виктора Александровыча, наче за занавискою, стоявъ за гайкомъ. Наблизывшысь до гаю, я почувъ якыйсь невыразный шумъ. Видповідно тому, якъ мы наблизкались, винъ все дужчавъ; трохы згодомъ можна було мѣни добре розибраты, що шумъ ишовъ зъ водопаду. И справи, я не помылвся. Помижъ билымы березамы де-не-де выгравала на сонци блыскуча вода, а якъ выйихалы зъ гаю, передо мною розгорнувся шырокий ставъ зъ греблею, що на половину ховалася помижъ старымы вельчезнымы вербамы. По той бикъ ставу, майже на берези, вызыралы зъ-за деревъ били хаткы, видбываючысь въ води; а мижъ хаткамы биливъ пидъ почорнилымъ соломъянымъ дахомъ зъ черногузовымъ гниздомъ вельчкый, на четверо виконъ, панськый будынокъ, передъ которымъ стоявъ вельчезный гиллястый грабъ. За хуторомъ, по згирью ишовъ родючий садъ, обсаженный старымы березамы; на шпылю горы на голубому фони неба маячивъ витрякъ на шестеро крыль, а ливоручъ видъ його на похыли й вырынало по масаковому обрїи въ синимъ тумани мисто Глухивъ.

По гресли, мижъ вербамы, поважно похожувавъ самъ господарь отього скромного крайовыду: на йому

бувъ смушевий кожухъ, покритый сирымъ немецкымъ сукномъ, червоный поясъ и чорна смушева шапка. Побачывшы мій фургонъ, якъ винъ показався изъ гаю, винъ зупынувся и, заслонившы рукою, немовъ козыркомъ, очи видъ сонця, дывывсь на мій незграбный экипажъ.

— Викторе Олександровичу!—гукнувъ я до його, не вылазячы зъ своєї будкы.

Винъ ще дужче почавъ прыдвлятысь.

— Якъ здоровьячко, Викторе Олександровичу?— зновъ крыкнувъ я йому, все ще не показуючысь.

— Та який тамъ сатана гукас, а не вылазыть на свить божый?—озвався винъ, нібы зъ серцемъ.

— Та не сатана се, а я, Викторе Олександровичу,— кажу я, вылазячы зъ воза.

— Такъ ты бь такъ и казавъ! А то репетуе, а не показується,—промовывъ винъ.

Мы обнялысь, поцілувались.

— Отъ молодець! Отъ такъ козакъ,—скрыкнувъ винъ.—Спасыбигъ, спасыбигъ! А я вже думавъ, що ты неодминно одурышь, та вже думавъ сьогоня на-ничъ пойихаты до Семѣна Максимовича стричаты свято; а ты такы й прыйихавъ. Ну, спасыбигъ же, спасыбигъ тобі! Теперь не треба й фрака шукаты.

— Ну, якъ же вы живете, що поробляете, Викторе Олександровичу?

— Та що-жъ я поробляю! Отъ другый тыждень, якъ пиднявъ заставку, та й гуляю по гребли, якъ со-

бака на ланцюзи. Богъ и знае, звидкиля отся вода береться; такъ и надае, и надае!—говоривъ винъ та. взявшы мене за руку, додавъ:

— Ну, а теперь просымо до хаты. А ты, голубе,— промовывъ винъ до Ермолая:—йидь прямо до стайни, спытаешъ тамъ кучера Артема, та й беры въ нього всього, чога твоя душа хоче.

Панський будынокъ и зъ-окола, й зъ середины тилькы й одризнявся, що своєю простористью; та и самъ панъ, правду кажучы, мало чымъ видризнявся видъ своихъ крепакивъ, хйба тымъ тилькы, що носывъ червону сорочку шовкову та чорни плысови штаны, а въ свята надягавъ фракъ та йиздывъ обидаты до свого манижного сусиды,—та й бильшъ ничымъ. Правда, учывся винъ у ниженськимъ лыцеи въ одни часы зъ незабутнимъ нашымъ Гоголемъ; дали служывъ десь у гусарахъ, та такъ, що колышнього выховання не лышылося й тини. Рокивъ пъять тому буде, якъ покынувъ винъ службу; але й теперь ще ладень бувъ бы „погусарыты“ пры нагоди; нарикавъ тилькы на знесылля физычне, на биль головы зъ похмилля; але се, на мою думку, трапялося, мабутъ, черезъ те, що практыкы бракувало. Гравъ винъ на бандури немовъ справжній бандурыстъ, а у вильный часъ компонувавъ жалисни украинськи романсы,—одынъ зъ ныхъ завивъ звисный композыторъ Глинка на ноты. Щобъ лышыты соби самобутнисть творивъ, винъ, окримъ байокъ Федра, переложеныхъ ще „во время оно“ славетнымъ Барковымъ, ничогисинько не чытавъ, тилькы ияколы

бравъ въ руки Херасковаго „Царь, или спасенный Новгородъ.“ Щобъ повнійшь його схарактеризувати, треба додати ще, що винъ зовсимъ видгородувъ себе видъ впливу, або услидованья на ныви пысьменства, жывъ самотою въ краини; занадто прыдатный до польованья— бувъ запеклымъ ворогомъ польовань, и мыслывчивъ называвъ шкуролупамы та собачныкамы.

Ни деликатнымъ поведженнямъ, ни прывабностю твары мій прытель не вызначався. На смаглій та виспою подзьобаній твары його було стилькы веселой простоты душевной, що безъ утихы на його не можна було дывытысь, найпаче колы винъ расповидавъ яку-небудь украинську побрехеньку, або передражнявавъ кого-будь зъ своихъ сусидъ: найпрыроднійшою мимикою орудувавъ винъ до высокаго ступня.

Чоловикъ винъ бувъ уже не молодого вику, але жъ и старымъ бурлакою не можна ще було його назвати, хочъ и наблыжався вже до сеи категоріи. До жыття самитного винъ такъ вже звыкъ, що про одружиння й не спомынавъ николы. На сучасне выхованья панночокъ взагали, а сусидокъ тымъ паче, дывывся винъ по свойому, се-бъ-то—скоса. Вважаючи на його oryginalный поглядъ на речи, не можна було й гадати, щобъ винъ колы-небудь побрався; але жъ не такъ сталось: не дали, якъ черезъ рикъ писля того, якъ мы бачылись, винъ одружывся, и въ сій справи такъ само, якъ у пысьменстви, выйшовъ само стійнымъ.

Треба додати, що до своихъ „пидданныхъ“ винъ бувъ—наче той батько въ родыни: бравъ зъ ныхъ лыше

те, що було йому немынуче потрібно на прожитокъ щоденный:—жадныхъ прымхъ у його не було; та й взагали видаткы його були незвычайно обмежувани; зъ сього боку його можна було браты за добрый прикладъ.

— Бабусю!—гукнувъ господарь, увійшовшы въ хату

На голось його увійшла чепурненька въ сільськимъ убранню бабуся.

— Самоваръ! Чаю! Та й инше що... догадалась?

Бабуся кывнула головою й выйшла зъ хаты.

— И яка жъ ты гарна людына, прямо й сказаты не вмю!—гомонивъ винъ, обіймаючы мене та садовлючы на шырокій дубовій лавци.—Теперь другого такого чоловіка й зъ лихтаремъ не знайдешъ: давъ слово, и додержавъ його! Далебигъ, не знайдешъ такого другого.

Я мовчки стыскавъ йому руку та хытавъ головою. Закрымъ мы любязно отакъ балакалы, на столи зашумивъ самоваръ. Чепурна бабуся перетырала шклянкы, а господарь, покынувшы мене, узявся одтыкаты пляшку, на котрій на этикетки красувалыся готычни литеры, зъ якихъ складалося слово: „коньякъ“.

— Шкода, що ты не заставъ тутъ стрилкового батальону,—говорывъ винъ, становлячы на стиль одиткнуту пляшку:—на тимъ тыжни тилькы выступывъ; а що за вдатни хлопци! Здебильше—Шведы. Дыво, яки люде выховани, освичени. А вже погуляты чы „угла загнуты“, такъ прямо тоби сущи гусары! найпаче поручыкъ Штремъ, прямо геніяльна голова!

Закрымъ винъ выхвалявъ поручыка Штрема и його товаришивъ, бабуся поналывала у шклянкы чай,

а мы прийшли до столу. Выпившы по стакану, Викторъ Олександровичъ повернувся до мене та й каже:

— Розкажи жъ мени про свою мандривку; ты жъ чоловикъ примитливый,—гадаю, багато чого цікавого спостеригъ!

— Найцікавійше,—кажу,—за всю свою мандривку коршма ваца била Эсмани; а коршмаръ, вашъ посесоръ, и поготивъ.

— Ба! Се Омелько Туманъ! Такъ вы зъ нымъ познайомылись?

— Я въ нього ночувавъ, ще й на виру.

— Се жъ якъ, на виру?

Я йому розповивъ исторію своихъ финансивъ.

— Погано!—промовивъ винъ зъ малою увагою, а дали, трохи помовчавшы й каже:

— А знаете, отой старый инвалидъ Омелько Туманъ—людина цікава, та ще й орыгиналъ чысто украинської вдачи. Винъ не оповидавъ вамъ, якъ винъ спизнавсь зъ Блюхеромъ, або якъ вони черезъ Парыжъ промаршруували?

— Про Парыжъ оповидавъ, а про Блюхера—ни.

— Якъ же се такъ? Мабудь жинка перебыла?

Я запевнивъ його догадку.

— И певно винъ звавъ іи капитаншою?

— Дійсно такъ.

— Бачъ, якъ я знаю свого орандаря,—якъ ты кажешъ, посесора. Знай же ты, що пидъ отсією грубою корою крыється найвельчнійша, найблагороднійша душа. Його жинка, що винъ жартома зове капитаншою,—се його

годованка зъ самого малечку. Нехай гуляючы я вамъ розкажу сю исторію. Винъ одночасный служака й однополчанецъ моему батькови: такъ мій покійныкъ безъ утихы на серци и оповидаты про його прыгоды не мигъ. А найкраще: подарую я тобі рукопысь, папысаний словамы покійного батька; тамъ ты не знайдешъ ни-же йedyного словечка выгадки,—сама гола правда. Я иі думавъ було надрукуваты, та потимъ роздумавъ: ще якый-небудь баронъ Брамбеусъ захоче на мени языкъ гострыты, або прямо назове иі никчемною выгадкою, а для мене се гирше ножа гострого. А ты иі хочъ и друкуй, тильки за своимъ йменнямъ, щобъ я лышывсь зъ-боку. Я иі тобі завтра й знайду, вона у мене десь схована, та й самъ не згадаю де. Треба спытаты бабуси: вона въ мене всьому хазяйка. А дочку його бачывъ?—додавъ винъ, усмихаючысь.

— Бачывъ,—кажу.

— А що, правда красуня?

— Суца красуня-та! хочъ и одягнена по селянськи, але на мужычку селянку не схожа.

— На мужычку! Гмъ... вона на царивну, а не на мужычку скыдається! А якъ ты гадаешъ,—додавъ винъ, пыльно дывлючысь мени въ вичи:—чы можна такому значному чоловикови, якъ я напрыкладъ, назваты иі своею жинкою, га?

— Чому жъ ни, колы вона й справди така хороша въ усьому, якъ зъ выду.

— Така, справди така въ усьому!—видповивъ винъ зъ захватомъ!—Мое серце радіе, що я надыбавъ хочъ одну людыну зъ одынаковымы думкамы, якъ и мои, що-до справжнього ни видъ кого незалежного жыття; а то самы прылыкы та прылыкы. Все жыття стоить на обопильнымъ обдурюванні, се-бъ-то прылькахъ,—додавъ винъ, допываючы чай.

Одно тилькы здалось мени чуднымъ...—кажу я.

— А що саме?

— Та те, що вона для коршмы дуже вже невинна; наприкладъ: вона ажъ до сьогоднишнього дня не видала, що йе на свити „гармонія,“—суща дыкарка!

— Отсе то власне мени й до вподобы! Якимъ чыномъ вона сьогодня знайшла таке вельке видкрыття? Чы не вы тому запомоглы?

— Эге, я! Я їй подарувавъ гармонію.

Гостынный хазяинъ глянувъ на мене зпидъ лоба та й промовивъ, покручючи вуса:

— Носыть же васъ чортъ зъ вашымы гармоніями! Тилькы добрыхъ людей зъ пуття збывае! Ну, скажы, будь ласкавъ, чы то жъ їй, такий прынцеси, прыстала твоя дурна гармонія? Вона жъ їи збезобразыть: се жъ однаково, якъ бы огрядну орловську бабу посадыты за Лихтенталивськи клавькорды! Сьогодня жъ одберу й спалю!—Бабусю!—гукнувъ винъ.

Ввійшла бабуся.

— Пошлить Максима въ коршму, нехай винъ прынесе мени музыку. Або ни, нетреба: я самъ пойиду.

Хазяинъ хутко надивъ шапку и озавсь, выходячы зъ хаты:

— Бабусю! Знайды та дай имъ сынїй папиръ; знаешъ—той, що я недавно чытавъ Іліи Карповычу?

— Добре, пам'ятаю,—видповила бабуся! — Гараздъ, що вы сказале, а то я вже хотила його сьогодня повернуты въ хазяйство.

— И добре бъ зробыла! Виддай же теперъ имъ, колы не встыгла повернуты въ дило.

— Прощайте! — промовывъ винъ, удаючысь до мене й выходячы, гараздъ дверыма грюкнувъ.

Мени стало такъ нїяково, наче соромно, що я вже думавъ було клькнуты Ермолая, щобъ лаштувавъ „колисницю;“ та передумавъ, власне черезъ те, що ни зъ чымъ було рушыты. По воли, чы по неволи мусивъ я выбачыты своему Амфитрыонову за його орыгинально та суто-хуторянську выхватку; а себе выводывъ тымъ, що въ жытти частенько трапляється намъ ще й не таки прыгоды выбачаты, и не тилькы зъ-за службы, а такъ, якъ кажуть, зъ-за крутыхъ обставынъ та навить и безъ усякыхъ обставынъ. Докы я видавався такимъ великодушнымъ думкамъ, бабуся прынесла й поклала на столи передъ мене товстенькый такой сувертокъ сынього паперу, зв'язаный навхрестъ рожевою стяжечкою, а сама стала мовчки прыбираты посуду зи столу. Запальвъ я цыгару (за тыхъ часивъ я ще цыгары палывъ), розв'язавъ сувертокъ, розгорнувъ його, сивъ била столу на лави, умысно не дозволяючы соби нїякого комфорту, се-бъ-то просто горизонтального по-

ложення, щоб не вчинити невичливости та не заснути на авторовихъ очахъ за першою жъ сторинкою його твору скромного.

Взявся я читати. И назва була така:

Капитанша,

або высокодушний салдатъ.

Оповідання очевидця.

„Подарувавши Европи спокій, наше військо маршувало до господы. За гуртомъ маршувавъ и нашъ завзятий пихотный полкъ №. Полковий нашъ адъютантъ бувъ майстеръ на вси руки. Напрыкладъ: нашъ братъ - простота всього збувъ на Нимкенъ та Французанокъ, другий зъ-опалу и материне благословення по-боку торохнувъ; а винъ соби нышкомъ—тышкомъ складавъ копійчину за копійчною та збиравъ всяку дрибнычку; а та дрибнычка все була не що инше, якъ ридкости: золото та діамантъ, а бильшь ничого! Мижъ иншымы ридкостямы вывизъ винъ до-дому й жокея, чы якъ винъ ще його звавъ, пажа, француза.

Ну, чы жокей чы пажъ—се все однаково; а тилькы дило въ тимъ, що отсей пажъ бувъ хлопецъ дивнои красы и соромливый, якъ найнепорочнійша дивчына. Винъ звавъ його,—гарздъ не скажу,—Альфредомъ чы Альбертомъ; а полкови музыки, се вже знаю добре, звали його Володькомъ, а за музыкамы, признаться, й нашъ братъ, се-бъ-то хто пры „офиціи,“ тежъ за Володька його вважали: бачте, свое ридне якосъ до сердца близьче, та ще якъ не будешъ годивъ зо два, зо тры у риднимъ краю. Повирте, якъ увійшли въ російськи

границы, такъ першый зайизднй двиръ, хочъ якый винъ ни загыжений, а здався мени кращымъ всякого французького готелю.

Звисно, все отсе забубоны; але якъ для кого, а для мене отси сами забубоны мають якусь свою прываблывисть. Жывъ нашъ адъютантъ, якъ и взагали жывуть скупягы, пидъ запорамы. Товарыши одвидувалы його хйба що якъ справа, та й то яка важна дуже; тымъ то його хатне жыття мало кому було видоме. Проте чутка ходыла, що винъ въ-купи зъ Володькомъ и чай пье й вечерае (обидавъ винъ щодня въ полкового командира); але то ще покы була тилькы чутка. Одынъ-однымъ чоловикъ, що одвидувавъ щодня адъютантову кватыру, бувъ барабанный староста. Ходывъ винъ до його не такъ по обовязку, якъ задля Володькы.

Барабанный староста бувъ прыроднй нашъ братъ—украинець и оригиналь такый, що другого такого мени й стриваты не траплялося. Забравъ винъ соби въ голову, що краше його не тилькы на весь полкъ, а й на весь корпусъ ни хто не знае ни французькой, ни немецькой мовы, а колы було спытасшь його, чы йе яка рижныця мижъ французькою и немецькою мовою, то такъ навспряжки й одкаже:

— Малность! Колы хто добре знае французьку мову, то може балакаты й по немецькому.

Такъ отсей чудакъ и взявся въ походи навчыты Володька московськй мови, а винъ ии стилькы знавъ, якъ нашъ хutoryянынъ, що николы й бороды москов-

ської не бачувъ. Хочъ и стоявъ староста шість рокивъ у Владимирській губернії, але се йому мало що помогло: такимъ - такы чыстымъ украинцемъ винъ и зостався. Коли бъ Володько справди надумавъ бувъ учытысь у його московській мови, то ставъ бы похожимъ на того Англичанына, зъ которымъ сталася ось яка прыгода: заманулось йому навчытысь балакаты по московському; отъ винъ, щобъ досягты скорійше своєї меты, поселився на лито въ сели та й зйєднався зъ попомъ, щобъ той до зими навчывъ його справжній ґрунтовній мови московській.

Пипъ и навчывъ його по нашому церковному. Вертається зимок Англичанынъ до столици та въ моднимъ сальони и пустывъ якесь бо' мо по- церковному. Пани такъ и покотылась зъ реготу. Винъ такъ и стержався: не такого ефекту винъ ждавъ видъ свого бо' мо. Засоромывся, бидолашний, та й ніякъ не второпає, щобъ воно значыло, та вже потимъ йому зъясувалы.

Зъ французыкомъ Володькомъ могло було такъ само статысь, що й зъ чуднымъ Британцемъ. Але сталося не те, а ось що: за похидъ французыкъ, не вважаючи на похмуру та мовчазну барабаншыкову вдачу, такъ звыкъ до його, якъ тилькы дытына до матери може звыкнуты. Чудни речи діються на свити: напрыкладъ Туманъ, барабанный староста (такъ його прозывалы, такъ и мы його будемо зваты), зовсимъ бувъ людына не французької вдачи, а прыпавъ же до серця витрогонному французови, та ще й якъ прыпавъ! Прямо, якъ ридный. Щось йє таємне, невидоме, що наврстає

нась до нашої биды, що зъ нами буде; але мы не въ сыли розибраты си ними натякання, тымъ то й страждаемо. Французови тежъ його ангеломъ - заступныкомъ пораяна була ота симпатія до людныны прости, грубои,—здавалось, сторонньою до всякого пөвыщого почуття; а сталося такъ, що мы вси хыбылы, а французъ угадавъ.

Володько, той французькъ, бувъ, кажу, хлопець тихый, трохи навить нелюдимый зъ усима, окрімъ Тумана; а зъ нимъ винъ вытворявъ таки штуку,—якъ може доводилося вамъ бачыты,—якъ мале котеня пуштуе зъ старымъ котомъ. Котеня щобъ не встроило, то старый тилькы жмурьтыся. То такъ и Туманъ: що ни вытворяе зъ нимъ Володько, а винъ тилькы дывытыся на нього та усмихається; хйба вже дуже надокучыты винъ йому своимъ пустуваннямъ, або прямо не дае спочыты писля ротнои муштры та покурыты въволю люльки, такъ одвернется та й промовыты: „а щобъ ты йому опряглось!“ Та, ще й не доказавшы негарного слова, зупынытыся, перехрестытыся та й скаже: „Господы, прости мене гришного! воно сырота, та ще й на чужыни, а я його лаю.“ И хочъ якъ бы не бувъ натомлений, встане, пиде, роздобуде де-небудь сыра и иншого тамъ, та й давай липыты вареныкы своему Володьови, щобъ хочъ сымъ трохи закладыты передъ нимъ свою выну. Адъютантъ хочъ,—выдно було,—й не потуравъ, але нышкомъ радъ бувъ ихъ обопильний прязности; та инакъ и буты не могло, бо Володько що ще?—слыве дытына, та ще й мижъ чужымы людмы,—

чы довго распаскудытысь! Въ такі роки все прылыпа аднакова—и гарне и погане, а што видь Тумана пажь не навчытыся нічога лыхого, въ тому бувь винь певный, бо Тумана цилый полкъ вважавь за найретельнійшу и найчеснійшу людуну; а што винь похмурый, то то нічога: другый и прыязно дывытыся, такь вкусыть, якь гіена.

Повернушы до свого любого „отечества,“ стали мы на зимни кватыри. Володько ставь нудьгуваты, та й зь выду якось чудно зминывся; а што ще чуднійше було, такь то, што винь никола не скыдавь свого шырокаго плаща,—такь и спавь у йому; и не гравсь никола, якь те котеня, зь своимь похмурымь другомь, а впаде йому на груды та такь и залеться сльозамы. Тумань уже всяко його пестывь и веселыты пыльнувавь, та мало чога досягавь тымь. Мы спершу гадалы, што се просто туга за риднымь краемь, и згодомь воно мчнеться; отже нарешти сталось не такь. Адъютанть пойхавь до родычивь, а Володькови найнявь у мистечку у жыда кватыру, та й зоставывь його на доглядь барабанному старости. На се мы тежь и дывуватысь не встыгалы: чому бь хлопця зь собою не взяты: все бь же воно хочь трохы бь провіялося! Поклалы мы се на погану адъютантову вдачу, бильшь ни на шо.

Не знаю чому, а францужа те всихь нась цикавыло, найпаче мене. Було въ нимь таке щось прывабне та симпатичне! Якь лышывся винь безь свого патрона та не показувався й на вулицю, то я мовь што втра-

тивъ, и кожного разу, якъ побачу Тумана, пытаю про француза.

Спершу Туманъ казавъ мени, що Володько нудиться, а дали вже почавъ казати, що Володько нездужає. Неразъ хотилося мени зайти провидати Володя та побалакати зъ нимъ про ридный його Парыжъ,— може бъ йому полегшало. Такъ що жъ вы робытимете зъ дурною фанаберією: якъ такы, бачте, мени, офицерови, та йты зъ вызитою до якогось тамъ француза, та ще й до лакея. Охъ, виховання! До никчемного ледачого урядныка мы на вульци шапкуемо прыязно, найпрыятнійше вытаемо у себе въ хати, подаемо стильця и садовымо на першому мисци, на покути, за столомъ, и не боимось, що ся отруйлыва тварюка своимъ дыханнямъ заразыть дитей нашихъ; а зустринеться зъ нами на вульци людына проста, нечыновна, що може намъ такы-жъ своею прямистью та некорыстнистью робыла послугы, то мы на його й очей не зведемо; а колы й зведемо, то такъ прыхыльно, шо краше бъ и не зводылы булы. Отсе, бачъ, зветься въ насъ прыстойнистью! Погань, та й годи! Мы гирше брамынивъ: той, хочъ здыхатыме—въ парія воды не попросыть, щобъ ни за вишо не буты йому вдячнымъ; а мы!... Правда, на сю тему цили томы напысано, то чы не краше се кнуты, бо нового ничого я не скажу; та й не разъ помичено, шо вельки теоретикы не завжды бувають и практыкамы такымы жъ. Се я кажу про филантропивъ та моралистивъ, то, щобъ не попасты й самому до того гурту, такъ липше вернуся до свого француза Володи.

Мынуло мисяцивъ зо-два писля адъютантового видйизду. Блызького кого чы прыятеля въ полку не мавъ винъ никого, тымъ то й про його ниякыхъ зви-стокъ не малы. Кватырувавъ я вкупи зъ нашымъ штабъ-ликаремъ. Отъ якось у-вечери сыдымо мы соби вдвохъ, чытаемо якусь французьку кныжку,—не згадаю, яку власне,—ажъ „деншыкъ“ и каже, шо барабанный старо-ста просыть дозволу ввійты.

— Поклычъ,—кажу.

Туманъ увійшовъ, блидый та переляканный.

— Шо скажешъ, Тумане?—пытаю.

— До ихъ высокоблагородія.

— Шо жъ тоби треба!—пытае ликаръ.

— Володько вмырае, ваше высокоблагородіе! Тилькы то не Володько, ваше высокоблагородіе, а жинка.

— Якъ се, жинка?!—пытаемо въ одынь голось.

— Та такъ, жинка; а теперь мучыться... пологы у неи.

Ликарь хутенько одягся й пишовъ слидомъ за Туманомъ. Довго винъ не вертався, чы то може мени такъ здалось, бо я його нетерпляче ждавъ; нарешти прыйшовъ.

— А шо?—пытаю його.

— Ничого, ослобоньлась; дытына здорова, жытыме, а вона, сердешна, дуже постраждала, наврядъ вы-крепыть.

Вранци прыйшовъ Туманъ и оповистывъ насъ, шо скоро писля того, якъ питы ихъ высокоблагородію, вона вмерла.

Оповистылы полкового командира. Винъ звеливъ другого дня ии поховаты та й забуты про сю ричь. Дытynu хотила була взяты полковныця до себе, але Туманъ не виддавъ.

— Я видповидатыму за сю дытynu передъ Богомъ, бо маты якъ вмырала, руку мени цилувала та на дытynu все вказувала,—се-бъ-то прохала, щобъ не кынувъ ии дытyny; то я й повыненъ його не кыдаты,—казавъ винъ. Такъ и зробывъ. Того жъ дня зъ факторомъ одшукавъ мамку, дытynu до неи виддавъ и гроши заплатывъ.

Цикаво було намъ довидатысь, що за людина була покійныця; але не довидалысь ничего: жадныхъ документивъ у неи не знайшлося. Певне або яка-небудь актрыса перейизжа, або прямо субретка зъ модной крамныци,—Богъ ии знае!

Думається мени, що теперъ ще не зовсимъ пизно блызче познайомыты васъ зъ моимъ незграбнымъ героемъ, бо краше пизно, а-нижъ николя,—каже мудра прыказка.

Року 1809 нашого запасного вйська кватырувало трохы въ Бесараби, а трохы въ Херсонщыни; и нашъ полкъ тамъ бувъ. Я тоди тилькы що скинчывъ науковий курсъ въ шляхетськимъ кадетськимъ корпуси; скоро мене обмундировалы, заразъ и одислалы до арміи, се-бъ-то въ запасне вйсько. Прыбывъ я до полку, вступывъ у роту; ротный командиръ и прыпоручывъ мени учыты до фронту зъ пивсотни новобранцивъ; мижъ ными бувъ и Туманъ.

Наврядъ, щобъ найноровыстїйша цыганська шакапа прыняла стилькы бїйки, якъ отсей бидолашний некрутъ; а дило все жъ не поступало напередъ а-ни на крокъ йедыный: не далася парубкови наука. Мынуло пивроку, а йому якъ ничего й не було; протє зъ себе бувъ винъ молодой, показный, здоровый, „безъ усякого качества“, якъ каже було капраль, але зъ норовомъ. А казаты правду, то мы самы не знали ладу, якъ поводитись зъ некрутамы, тымъ паче зъ моими землякамы. Тоди Владиславлевъ ще не выдававъ своєї памятнои кныжки для штабъ—и оберъ-офицеривъ, де надруковано дуже прыдатню до сього дила науку доктора Н. Зъ Туркамы скоро було умовлено замырення, то нашому полкови звелено було вирушыты въ середину Росїи. Такъ мы ото дурно й потрошылы хворость на Тумани. Рота наша йшла вкупи зъ полковимъ штабомъ, значыть—зъ полковою музыкаю. По-знайомывся нашъ недобытый некрутъ походомъ зъ барабанщыкомъ; той и давай йому на „дневкахъ“ выявляты потайнисть своєї штуки. Що жъ вы думаете?—Ще не дїйшылы мы до прызначеного мисця, якъ нашъ Туманъ, чы, якъ його звалы москалы, медвидь, бывъ уже „зорю“ на барабани, та такъ лепсько, що й самъ учитель заздрывъ. Ротный командиръ побачывъ, що медвидь уже не вкинець безглуздый, и давъ на його волю статы форменнымъ барабанщыкомъ. Туманъ радо згодывся и такъ палко та, сказаты, зъ захватомъ вид-дався улюблений свой штуци, що якъ убылы нашего барабанного старосту пидъ Бородинымъ, такъ винъ

заступивъ його місце. Бачте, яка сила призначення! Ут-ропалы-бъ мы отсе його призначення ще зъ початку, то й не пропавъ бы визъ хворосту.

Що було дали по служби и въ жытти власнимъ мого героя, то не варто того, щобъ про його пысаты; хиба тилькы розказаты про те, якъ винъ, колы йняты виры його словамъ, спизнався съ Блюхеромъ; якъ Блюхеръ по немецькому запросывъ його на чарку „шнапсу“, а Туманъ,—по немецькому жъ,—за „шнапсъ“ подякувавъ, а попрохавъ у „його превосходительства“ шклянку „вейну“, а вже-жъ Блюхеръ не видмовывъ. Беручы на увагу вдачу знаменытого полководця, усе те могло статись отакъ отъ, якъ розказавъ Туманъ; але, колы я не бувъ свидкомъ сього випадку, то й не ручуся за правдивисть сього вчынку.

Святы ти часы были для нашего брата-воёка! Якъ поставлять було полкъ на зимивлю по кватыряхъ, то такъ винъ и роскоренеться: зимъ зъ десять зъ мисця не рушыть. До того ще наша братія и переженеться на половыну,—та що я кажу: на половыну! вси переженеться, колы тилькы дивчатъ въ околыци буде въ ричъ достачъ. Э, тоди дивчата не засыджувались такъ, якъ оттеперь. Теперь що?—Полкъ, якъ кажуть, не встыгне и мисця нагриты, дывсь: уже й потурылы на другой край Росіи! Якъ же тутъ женытсь! Давъ бы Богъ хочъ познайомытсь якъ-небудь! Солдатъ тоди прямо рахувавъ; иншый меткый парень такъ було обжыветься зъ господарямы, що прямо стане семьяныномъ, колы не ще чымъ бильше. Тилькы одно, що було ду-

же не до вподобы нашимъ салдатыкамъ, такъ се униформа, се-бъ-то одежда військова. И справди, страшно було дивытыся, якъ його, сердешного, вбирають въ справжню бойову амуницію—одягають двоє третього; а якъ одягнуть та постановлять на-ногы, то вже й стій, а колы,—не прыведи, Боже,—спиткнувся та впавъ, то такъ уже й лежы; самъ, звисно, не звездешся,—зновъ треба двохъ чоловика, щобъ на ногы поставылы. А до всього того додайте ще зъ билого сукна шынели. Се така халепа була москальови, що винъ, сердешный, не знавъ, що зъ нею й робыты: замисць того, щобъ самому оборонытысь нею видъ негоды, винъ мусівъ ии бороныты. Теперь російський солдатъ, що до обмундирования, прямо кытайський богдыханъ. Мундиръ тилькы трохы його обезображуе; але й сю хыбу згодомъ переменять на що-небудь липше.

Хто про що, а салдаты про „амунычку“; то такъ и я: заговорывъ за „крагы“ та „кутасы,“ а про головну и забувъ. Ось якъ воно було.

Звычайемъ того часу, прозимувавъ нашъ полкъ на одныхъ тыхъ самыхъ кватырахъ бильшь восьмы зимъ. Варочка (такъ Туманъ звавъ свою годованку) росла не днямы, а годынами. И що то за прехороша була дытына! Прямо, окраса мижъ дитською красою. Отъ уже пятого десятка калантаю, а другой такой чаривной дытыны не бачывъ. Та ще до того таке спокійне, тыхе,—ну, справжній янголь зъ неба. Тилькы часомъ й дозволяло воно соби дитськи жарты що зъ своимъ татомъ (се вона такъ Тумана клыккала); тазъ свого боку, й

Туманъ похмурый такъ усмихався, голублячы свою кучеряву Варочку, що й найдобрійша маты не може всмихнутысь ласкавійше до своєї дытны. Часто було бачышъ його, якъ вінъ сыдыть на прызьби пидъ хагою та голубыть на колинахъ свою Варочку. Отся картина завжды нагадувала мени прегарну гравюру, що выявляла вусатого лыцаря въ кольчуги зъ прехорошою дытною на рукахъ: воно його скубе за вуса, а вінъ ласкаво всмихається до його—чысто, якъ Туманъ зъ своєю Варочкою. Щасливый Туманъ! А якъ правду мовыты, то вінъ и заробывъ соби того щастя.

Взявшы дытну на свое пыльновання, вінъ распочавъ дило тымъ, що кынувъ люльку й горилку.

— Хочъ вінъ и николи не бувъ справжнімъ пьяницею, а пры нагоди видъ добрыхъ людей не одстававъ. Покинувшы оти утихы, йедыне можльви салдатови, все-жъ вінъ трохы зберигъ що Варочци. Простою чорною роботою въ жыдивськимъ мистецку не багато чого заробышъ,—треба було думаты про яке-небудь ремество. Отъ вінъ, добре помиркувавшы, узявся шевцюваты. Шевцое вінъ рикъ, шевцое два, а на третій и несе мени показаты чоботы опойкови власной работы; та ще-жъ чы не чоботы! Якъ вамъ сказать?... Хочъ и столычному майстрови, то вдарять у нись. Я такы не повіривъ у його тямю, звеливъ йому на себе сшыты чоботы. Вінъ и пошывъ. Якъ подывывся я—воны ще кращи; а на нози—прямо якъ вылыты! Я похвалывъ його товарышамъ. Туманъ узявся до работы щыро. Не минуло й року, якъ вінъ уже на всихъ офицеривъ у

полку шывъ, та й самому вже бригадирови, що все ще красувався въ парижськихъ чоботяхъ та вже думавъ заказуваты въ Варшави. Такъ отъ який майстеръ выйшовъ зъ незграбного та прядуркуватого, якъ про його думалы, Тумана. Ричъ певна, що въ нашого чоловика ридко трапляється вкупи дви добродители: майстерство та тверезисть, а все-жъ трапляється, що и довивъ вамъ Туманъ. Зате й живъ винъ такъ, що й офицерови другому дай Боже такъ жыты. Кватыра въ нього краше офицерської (винъ наймавъ у шляхтыча окрему хатку въ садку; не згадаю, що платывъ). За няньку взявъ чепурну бабусю, тежъ трохи не шляхтянку. Соби винъ заборонявъ тилькы горилку та люльку. А вже про Варочку—ничого й казаты: було выбижыть тоби на вулицю наче лялька та размальована: куды тоби шляхетськы диты передъ нею! мурзенята якісь! А самъ Туманъ такъ тилькы й показувався, що на муштру; а то сыдыть день и ничъ надъ своимъ чобиттямъ та писень спивае.

Трудяща людына, якъ на мене,—найшаслывійша въ свити, а найпаче колы його праця йде на таку високу, таку благородну мету, якъ у сього простого та непысьменного чоловика.

И теперъ и завжды завывдуватому тоби, шаслывий, благородный трудовныку!

Бабуся, нянька Варочкина, мижъ иншымы добродителямы була ще й пысьменна,—звисно по-польськы,—черезъ шо я й гадаю, шо вона мусила буты шляхетського роду; и колы Варочки пишовъ уже п'ятыи, чы шо-

стий рикъ,—гараздъ не зазнаю; знаю тильки, що вона вже гарно балакала, ще й гаркавила трохи, що додавало їй вымови прывабности,—стара взялась пидъ вильну годину навчаты їй грамоти. Туманови вподобалось, що його Варочка чытатиме, та ще й по-польському. Выявивъ винъ свое задоволення тымъ, що на першому мійському ярмарку купивъ няньци бавовняну, якогось темного колиру, хустку, кожушанку й сапьянци, та до того ще й пивкарбованця грошей подарувавъ їй. Стара була незвычайно рада и безъ-краю дякувала. Туманъ сразу було подумавъ: на вищо Варочци грамота! Яка вона панночка? Але, подивившысь на дытуну, сказавъ, що вона й справди панночка, та, махнувшы рукою, и мовивъ: „Нехай соби учыться; умитиме до ладу-хочъ Богу помолыться“. А колы винъ, простосердый, не покладавъ великои рижныци мижъ мовами немецкою и французькою, то однаково й мижъ польською та російською грамотою: все одно, абы чытала! Разъ якось,—а вже було невдовзи передъ тымъ, якъ намъ рушаты зъ благословенного мистечка,—иду я вулицею повзъ Туманову кватыру, дывлюсь: пидъ хатою на прызби сыдыть Туманъ въ своимъ перистимъ мундири и зъ барабаномъ мижъ колинами (мабуть тилько що вернувся зъ муштры); попередъ його стоить Варочка и просить у нього бытки до барабану. Винъ давъ їй. Взяла вона бытки та якъ утне похидъ, такъ все одно, немовъ самъ барабаншыкъ. Прямо я здывувався; суша та „*Sórka regimentu*“, що торишнього лита польськи акторы въ Ромни выставлялы! Але-жъ треба було бачыты

самого Тумана; здається, ни одинъ музыка зъ такимъ коханнямъ не слухавъ симфоніи Бетховена, зъ якимъ винъ слухавъ та выдвлявся на свою Варочку.

Нагадало отсе мени другый эстампъ, однаковый на вельчыну та, мабуть, чы й не майстера того самого, на котримъ намальовано рыцаря, тежъ у кольчузи: винъ учыть хлопця быты у барабанъ. Переминуты тилькы одижъ, и стане така сама картына.

Мынуло вже висимъ рокивъ, якъ нашому полкови звелено було рушаты смоленськимъ шляхомъ. Туманъ немовъ вгадувавъ катастрофу: прыдбавъ соби коня и воза. И колы звелено було рушаты въ похидъ, то наша братія предорого платыла за поганеньку шкапынку, та й то трудно було добуты, а Туманъ тилькы всмихався, дывлячысь на задыханыхъ факторивъ та на наши зборы. Сякъ-такъ зибралысь мы, и одного ранку полковый штабъ и моя рота выйшлы зъ благодатнього мистечка. Гучни булы проводы! Та й якъ имъ було не быты гучнымы?— Простоявши стилькы часу на однимъ мисци, зъ салда тивъ багато де-хто понажывалы не тилькы коханокъ, а й дитокъ... Ну, та ся картына мени не до смаку, то я й не описуватыму вамъ ни слизъ, ни рыданъ, ни обнимання несамовытого; скажу тилькы, що першый переходъ нашъ тягся цилый день, и половина моеи роты бравои ночувала въ дорози.

А йшлы мы тымъ самымъ шляхомъ, якимъ не-що давно пролетивъ зъ усима своїмы жахамы геній вйны. По повитовыхъ мистахъ, а найпаче въ Борысовимъ та Краснимъ, слиды писля вйны було ще знаты, а по се-

лахъ—якъ ничего й не було; тилькы й знаку, шо по селянськихъ лазняхъ, замість каминня, були бомбы зъ чавуну. Тилькы въ Смоленському ще цили вулицы були въ руини, але соборъ уже оновлявся.

Въ Смоленському полкъ нашъ скупився, та після інспекторського огляду и роспустылы насъ на зимови кватыри. Я командувавъ гренадерською ротою, тымъ то вкупи зъ полковымъ штабомъ и зостався въ Смоленському; а инши роты стали въ околицы по селахъ. Туманъ зъ своею Варочкою тежъ зостався въ Смоленському.

Не вважаючы на те, що пивъ миста стояло руїною, на зиму позйиздылось багато панства до миста, и мы на руїнахъ стародавнього Смоленська весело й гучно перезимовали. Матуси, мабуть, звернувшы увагу на полкове бурлацтво, понавозылы панночокъ, такихъ гарнесенькихъ! Та—ба! Свататы ихъ нікому було: уся наша молодижъ поженылася. Гришна людына: признаюсь, мене й самого нудыло вскочыть въ узы Гименя, але Викторка шкода було. Тіей зими йому тилькы шо пишовъ четвертый годочокъ; а чого важыть у такі рокы для дытынкы й найкраща мачуха, то я по соби знавъ; а якъ навъяжеться сатана, шо здається янголомъ несвицькымъ, тоди шо робытимешъ? Такъ я подумавъ, погадавъ, та й махнувъ рукою... Потимъ вже чувъ, шо мета моихъ зитхань взяла шлюбъ зъ якимсь безносымъ багатыремъ Энгельгардтомъ, та за рикъ винъ подався за одну граныцю, а вона за другу. Я тилькы Богу подякувавъ, якъ почувъ таку цікаву новыну.

Квартыру въ зруинованому на половину Смоленсько-
му поталаныло мени добуты недорогоу й гарну. Одна хата
въ ній була зайвато я й виддавъ ии Туманови зъ умовою,
щобъ винъ, якъ чоловікъ тверезый та чепурный, догля-
давъ мого мизерного хазяйства: и його Варочки веселище
буде и мій Викторко безъ мене не нудытymesя. Нянь-
кою гувернанткою була у мене молодыця прекрасна и пысь-
менна, то Варочка за зиму жартома навчылася й росій-
ській грамоти, та й мого Викторка навчылы абеткы. Ве-
лыкымъ постомъ винъ уже добре чытавъ, а Варочка ще-
дня божого, и ранкомъ, и въ-вечери, чытала въ голосъ
передъ усима ранкови й вечирни молитвы. Шаслыый
Туманъ ажъ плакавъ зъ радощивъ, слухаючы, якъ Ва-
рочка чытае таки гарни молитвы, въ якихъ винъ, тем-
на людына, до сього часу и толку не тямывъ; найпаче,
якъ вона було почне чытаты: „Помилуй мя, Боже...“,
та якъ дочытае до „Серце чисто созиджи во мни, Бо-
же“... дакъ ударыть поклинъ до земли та плачучы й
поцилусъ въ голову свою розумну Варочку. За те нянь-
ка моя не видала нужды въ черевыкахъ, бо завжды ма-
ла про запасъ зайвыхъ паръ зъ шить, — „на случай
похода“, якъ каже було Туманъ; а мій Викторко шо-не-
дили красується въ новыхъ чоботкахъ. Було скажешъ
йому: на вищо ты, Тумане, такъ часто чоботы йому ми-
няешъ? — „Росте, ваше благородіе, такъ я й миняю.“ —
Добрыга упевнявъ мене, шо дытына за тыждень такъ
може вырасты, шо йому немынуче треба миняты чобо-
ты. Разъ якось довелось мени купыты якоись матерію
Варочки на суконьку; такъ я вже й самъ не радъ бувъ:

Туманъ мій такъ росходывся, що-трохи було зъ кватеры не выбрався; на-сылу я його ублагавъ,—такий чудный!

— Ображаєте мене, ваше благородіє,—каже,—та й годи! У васъ у самихъ,—каже,—росте дытына, а вы на чужыхъ дитей тратытесь! Я чоловікъ рукомесный, въ мене завжды буде; а вы де визьмете, якъ Богъ не дасть здоров'я? Добре, якъ пенсіи дослужите, а то ище й такъ видпустять.

Впродовжъ зими я близько спизнавъ отсю просту, благородну и незвычайно чесну людыну.

На-весни мы вийшли московськымъ шляхомъ зъ Смоленського. Свого обозу та людей я казавъ доглядаты Туманови, и ажъ надто спокійный бувъ. Въ городи всяко трапляється: не скризь про тебе наготовлено; иншымъ разомъ и заснешъ на-тще серце, не що робытимешъ. Але въ симъ походи я почувавъ себе, наче у Бога за пазухою. Не встыгнешъ було й до мисця прыйты, а въ Тумана вже все готове: и кватырка для мене и для дитей, и самоваръ кыпять, и вечера поспивае, и конямъ усього доволи.

Богъ його знае, якъ винъ зъ усимъ тымъ и вспишався! А зъ селянами, не дывлячысь на свою украинську вымову, ниhto краще його не вмивъ зладнаться. Дывна людына!

У Москви вся наша дивызія скупылась, а нашъ корпусный тыхъ часивъ командиръ, небижчыкъ Сакенъ, писля инспекторського огляду давъ приказъ, щобъ усихъ непысьменныхъ унтеръ-фицеривъ повернуты на

рядовыхъ (звычайныхъ). Не тямлю, що йому, покійныкови, прийшло на думку! Зъ того въ ротахъ скоилася така сутанія, що й не приведи Господы! Особливо намъ, ротнымъ командирамъ, наробивъ винъ клопоту своимъ приказомъ. Непысьменныхъ унтеръ-офицеривъ дійсно багато було; за те вони були найросторопнійши й тверезици; а се дви таки добродители салдатськи, що ихъ ничымъ не заминышъ. Такъ отъ, замисць такихъ людей, мусили мы браты пысьменныхъ пьяныць та злодівъ. Отеперь тильки я довидався, що то за такъ званый „русскій“ пысьменный чоловікъ. Пысьменныхъ здебильше виддають у салдаты паны зъ сильськыхъ пысаривъ. Наши мужыкы не дурно кажуть: „Не буде добра й правды на земли, покъ пысьменнымъ очи не повылазять.“

Такій приказци можна було выныкнути лышень зъ глыбокого гыдування отымы пысьменнымы людьмы. Що-бъ то подумавъ про моихъ землякивъ велькый оборонецъ народной освиты—Ланкастеръ, колы бъ знавъ, що въ насъ йе така варварська приказка! Подумавъ бы, що мои землякы не люде, а пародія на людей, и бувъ бы винъ неправымъ. Загальна освита у народа—вельчезне добро; але тамъ, де на сто чоловіка одынь пысьменный, то воно вельчезне лыхо. Ничого бильшь неморального, ничого гыдчого за сильського пысаря я не видаю: винъ першый здырныкъ зъ злыдаря-мужыка, линтюга, пьяныця, змистъ усякою пакости и першый спокусныкъ мужыкивъ просто-сердыхъ, бо винъ святе пысьмо чытае.

Покійный Основьяненко въ своимъ „Шельменко, волосной писарь“ нахынувъ тилькы легенькый нарысь сього мерзенійшого тыпу. Такъ отакыхъ-то пысьменныхъ паны постачають въ армію! Певно покійныкъ Сакенъ не дававъ бы такого прыказу, колы бь хочъ зь тыждень побувъ экономомъ у панськимъ сели.

Туманъ бувъ не тилькы барабаннымъ старостою, а ще й унтеръ-офицеромъ. Винъ пышався отсымъ званіемъ и чыномъ, якъ власною заслугою; але, якъ чоловікъ темный, мусивъ скинуты тилькы-що куплени въ Москви, не побилени, а справжни срибни коштовни галуны. Довелося кынуты ихъ въ помыйныцю, такъ ни за що, а тымъ тилькы, що винъ непысьменный розбисака. Дуже глыбоко уразыло се самолюбство сердешного Тумана; немовъ той розвинчаний Наполеонъ ходывъ винъ килькы день мовчки, ничего не йившы.

Полкови нашому велено було кватруваты въ Муроми; такъ мы лаштувальсь до походу. Я зновъ прохавъ його узяты команду надъ моимъ мизернымъ хазайствомъ.

— Визьмить соби унтера,—одповивъ винъ, на-сылу здержуючы сльозы,—а то рядовой васъ дорогою обикраде.

Я й самъ трохи не заплакавъ, та й прохання свого не мигъ уже зновъ податы.

Одпускаючы його, я не поберигся та ставъ даваты йому пьять рубливъ „на водку.“ Зарыдавъ, сердега, плюнувъ на мои гроши, та й пишовъ зь хаты. Другого дня привелы його зь Арбатського участку до полко-

вого штабу такимъ, що на-сылу ногами переступавъ. Пытають його, де винъ пропадавъ; а винъ тильки й вымовивъ: „горилкы, а то здохну!“ Дали йому чарку горилкы та й заперлы въ порожню хату.

Боявся я за нього, але, хвалыты Бога, марне: Туманъ протверезывся та бильше вже не розважавъ себе горилкою, тильки до самого Мурома йшовъ мовчки, наче несамовытій. Ажъ ось въ Муromoи зновъ пропавъ винъ кудысь. Роспытую, де винъ; кажуть: у шпыталю. Пишовъ я провидаты його. Прыхожу, одчыняю двери въ палату: и що-жъ?.. Отакои вже гравюры я не бачывъ, та гадаю, що й нема такои на свити. Найвелычнійшому художныкови не ввыжалося ничего такого прехорошого й орыгинального: на лижку въ шпытальовому шляфрокy та въ колпаку сыдыть Туманъ, а на колинахъ у його Варочка зъ абеткою въ рукахъ и въ голосъ складае: „тма, мна;“ а за нею й винъ зтыха, баскомъ и соби проказуе. Побачывшы мене, винъ засоромывся, пидвився, прывитався до мене та й каже, червоніючы:

— Варочка отсе мени „Помылуй мя, Боже“... чытала.

— Отъ уже й „Помылуй мя, Боже...“ — озвалася простосердо Варочка,—вы ще й склады Богъ знае, якъ чытаете!

— Цыть, дурне!—перебывъ ии Туманъ, сипаючы ии за рукавъ.

Варочка засоромылась, глянула на мене та зновъ на нього та, дорикаючы, й каже:

— Хиба жъ я неправду кажу? Я завтра думала „азъ, ангель“ проказаты вамъ; а теперь ще й писля завтрого не прокажу, та й сыдитымете вы въ мене увесь тыждень на „тми, мни!“ та зъ останнимъ словомъ и выбигла зъ палаты. Туманъ подывывсь ий у-слидъ та й промовывъ зъ досадою:

— Отъ тоби й на!—а дали до мене:

— Воно бреше, ваше брагородіе!

Я добре бачывъ, що вона не бреше, але удаючы зъ себе, що я не тямлю, въ чимъ дило, й питаю:

— Що вона, завжды коло тебе?

— Ни, ваше брагородіе, вона въ фершалкы; а до мене забижыть на яку хвылыну, та й зновъ до фершалкы. Таке непосыдюше!—додавъ винъ, зводячы очи.

— Неправда, неправда твоя, Тумане—кажу йому:— я жъ знаю, що се ты робышь; чого жъ тамъ одъ мене ховатысь? Хиба жъ се погано—вчытысь грамоти?

Туманъ дывуючысь, подывывсь на мене та трохы згодомъ и каже:

— Погано, ваше брагородіе, дуже погано! Чы то жъ вы бачылы, скажыть на мылость, щобъ дытна, блазень, учыла старого чоловика?

Трохы не заплакавъ сердега; а черезъ хвылыну почавъ просыты, щобъ я нікому не казавъ про його вчиння. Я йому пообищавсь мовчаты: дававъ грошей, але винъ сказавъ, що въ його й свои ще йе. Попрошавсь я, побажавъ йому добытысь свого, та й пишовъ зъ палаты.

— Діамантъ, а не чоловікъ,—думавъ я, та навить и не жалкувавъ, що діамантъ сей покритый корою: такъ винъ мени бувъ до вподобы въ своему прыродному выди. Хотивъ я поривняты його до червинця Крылова; та передумавъ, що таки натуры, якъ Туманова, ледве щобъ змогли переродытысь, се-бъ-то перевернутысь.

А штабъ-ликаръ нашъ спостеригъ Туманову тайну, та й не выпысувавъ його зъ шпыталю, ажъ докы винъ самъ не попросывся. Черезъ мисяць приходыть до мене Туманъ, всмихається,—за рукавомъ у нього букваръ,—и просыть, щобъ я послухавъ, якъ винъ чытае. Послухавъ я: чытае добре й заповиди и все, що ни йе въ буквари. Подавъ я йому: „Уставъ о гарнизонной службѣ“, и „Уставъ“ чытае.

Того жъ дня я сказавъ про його адъютантови, а той бригадирови, и черезъ мисяць Туманъ зновъ нашывъ свои московськи дороги галуны, перебрався до мене на кватыру и зновъ взявъ мое хазяйство до своихъ рукъ.

Сталося такъ, що того самого дня, колы Туманъ зъ учтою нашывавъ свои нефальшыви галуны, вышло й мени повышения: мене зробылы майоромъ, а командирови першого баталіону выйшла видставка.

Мусивъ я взяты його баталіонъ. Хочъ я, якъ бувъ, такъ и зостався бурлакою, але хазяйство мое волю-неволю мусило збільшытысь. Тымъ-то такый чоловікъ, якъ Туманъ, бувъ про мене немынуче потрибенъ, тымъ паче, що Викторка свого вырядывъ я въ

Нижынъ до сестры, щобъ вона готовыла його до лыцею, то й Варочка, якъ дытына, була за-для мене тежъ потрібна, бо я безъ Викторка нудывся незвычайно, а вона, немовъ янголь божый, була въ мойй господи.

Не вагаючысь можна було привподобити їи до янгола божого. Такои невымовной красы я не побачу вже бильше. А що вже тыха, такъ прямо якъ янголь. Йшло 12-те лито їи вику, и вона мени незвычайно правдыво нагадувала покійного Володька, се-бъ-то свою матирь безталанну. Усмихъ, ричъ, очи—усе було нещасной матери; тилькы въ Варочки лагідність и неблазність все те м'якшыло. Хотилося мени заохотыты їи до кныжокъ; але жъ якихъ кныжокъ тоди можливо було добуты за-для неи? Выдавалася тоди часопысь за назвою „Благонамѣренный.“ Прочытавъ я въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ зазывъ до передплаты та, ув'язавшысь за такую благородною назвою, й пренумерувавъ власне про Варочку. Але якъ прочытавъ першый зшытокъ, такъ другихъ вже й не розризувавъ,—такъ ихъ у мене въ скрыни мыши й пойилы.

Пидчасъ Туманового пробування въ шпыталю потоварышувала Варочка зъ фершалкою; одвидувала вона їи и теперъ трохы не що-дня. Не до вподобы были мени ти провидування. Килькы разивъ казавъ я Туманови, що те прыятелювання не доведе до добра; але винь, Богъ його знае, чому,—не звертавъ увагы на мою порадy. Я пишовъ на хытрощи: задумавъ заохотыты Варочку до чытанкы, та тымъ и прымусыты їи сы-

диги дома. Зъ моихъ хытрощивъ ничего не вышло. Барочка тымъ часомъ росла та хорошила.

По третьому, чы четвертому роци нашего гараз-
дльвого постою въ Муроми, до нашего полку прыслано
зъ гвардіи за якись недобри вчынкы капитана Н. Н.,
парубику-красюка рокивъ двадцаты пъяты, багатыря най-
арыстократычнійшого роду, чоловика освиченого, пры-
емного, и найбезглуздійшого гуляку, а се тоди була
не абы-яка добродитель; Давыдовъ не по правди оддае
сей благородный палъ самымъ гусарамъ: нашъ братъ,
пихотынець, передъ ными ажъ надто въ симъ не по-
ступався.

Наше молоде офицерство то такъ до нього й
лыпло все; а що про панночокъ, то вже й казаты ни-
чого; вси, скільки ни було ихъ у Муроми й по-за Му-
ромомъ, гуртомъ, разомъ закохалысь въ нього. Та вже
се нехай и такъ: ихъ дило молоде, несвидоме: имъ
можно й выбачыты. Але и матери дорослыхъ дочокъ
туды жъ за своїмы дочкамы потяглы. Господы, яку
вельку сылу мае золото на людське серце! Та до того
ще винъ гарно по французькому балакавъ, переказу-
вавъ зъ памъяты та навить и спивавъ де-яки таки
писни Беранже, що путящый французъ посоромытыся
ихъ спиваты и въ пьянимъ гурти бурлакъ,—а винъ,
молодчына, спивавъ ихъ у муромськихъ гостынныхъ.
Нижному жиноцтву такъ подобалысь си писни безъ
обынякивъ, що ихъ заучувалы на памъять и въ хо-
лодку пидъ бузкомъ за окселентуваннямъ гтары та

соловья спивали ихъ такъ сумно, що, здається, й Бога не боялись.

Имъ, простосердymъ, и на гадку не впадало, що саме вони спивають. Вони гадали, що янголы колы й балакають промижъ себе, такъ не инакъ, якъ мовою французькою, и спивають такихъ писень, якихъ спивае и ихъ любленыкъ. Ото-жъ, скоро показався сей джыгунъ, панночки й паніи, колы удавались до кого зъ якимъ питаннямъ, то замість ймення и по батькови, казали: „мсью“; и зробылося се такимъ загальнымъ, що свижа людына неодминно гадала бъ, що муромчане вси балакають по французькому.

Отъ колы траплялася Туманови нагода блыснуты своимъ знаннямъ французькой мовы, та—ба! Винъ, сердешный, плебей, а то—панство, та ще яке панство—повитове! А воно-жъ, здається, всимъ звисно, що англійське панство, хочъ и найгордйше й найспесывище, але, колы його поривняты зъ нашимъ повитовымъ, то воно ажъ ничого не значыть. Хочъ французьки бранци—салдаты попадады до його недосяжного кола, але то французьки—ричь зовсимъ окрема.

Була въ мене тамъ одна знайома, молодыця вже не молодого вику, молодыця,—можна сказаты,—взирецъ, и маты така-жъ. Освитою вона не геть видризнялася видъ своихъ землячокъ, але зъ добрымъ жыттьовымъ розумомъ и безъ жадной манирливосты, що власне мени й було въ ній до вподобы. Такъ отъ вона якось стала выкладаты мени про добродители та освиченность нашего гвардйця. Я, слушаючи ии, га-

давъ, що вона жартує; слухавъ її та всмихався мовчки; а вона, не вважаючи на мої усміхи, забралась у такі панегырыки, що стала хвалыты його вельке знання „русской исторіи“! Такъ я й рукою махнувъ! Ну, чы то-жъ прыстало, щобъ „русский“ тогочасный панъ, та ще й гвардієць, знавъ ще що-небудь, окрімъ французької мовы? А то ще й крайову исторію! Якъ-разъ тоди Карамзынъ почавъ выдаваты свою знаменыту исторію; такъ про неї, мабуть, и чувъ нашъ капітанъ та й пустывъ у дило свои досвиды поміжъ непорочнымы муромками. Горопашни муромки, та ще горопашнійши муромчане!

Колы молодыця, котру вважали за взирецъ розуму и родынної добродители, та й та заморочылась бравымъ капітаномъ, такъ який же впливъ винъ мавъ на загальный розумъ и добродитель? А такой, що не минуло й року, якъ чоловікы молодыць та батькы молодыхъ дочокъ стали вже впевнятысь въ превелькому капітановому впливови на ихъ жинокъ та дочокъ; и колы нашому полкови прызначено було йты въ похидъ до Москвы на коронацію, то батькы й чоловікы перехрестылыся та вильно зитхнули, а жиноктво затужыло.

Проте гирки рыдання стали даремнымы: капітанъ занедужавъ и, докы выдужає, зостався въ Муроми.

Та й переполохалыся жъ матинкы та ихъ прехороши дочки, що закыдали на капітана, якъ на найкорыстнійшого до шлюбу, якъ до його, тоди, колы насъ не було вже, прыйихалы жинка зъ тещою и засталы його не хворымъ, а середъ товаришивъ-чарошныкывъ.

Теща було распочала йому вычитуваты видповидне часу казання; але винъ зупынивъ їи, говорячы: „Здаеться, вы жинка й розумна, а таке дурне кажете. Адже-жъ вы бачылы, вы-жъ знали, кому виддавалы свою дочку—одынычку,—такъ про вищо-жъ теперь вы мени толкуете?“ Подывылась на нього стара, заплакала, взяла свою дочку-одынычку та й пойихала до-дому. А винъ регочучись, крычавъ за ными: „куды-жъ вы поспиаєте? Може звольте пообидаты зо мною?“ Молодчына!

Але, не вважаючы на все се, впливъ його на нижну половину роду все длявся; а сердешни чоловіки та батьки не тямлы, якымъ-бы робомъ спекатыся небезпешного капитана, та й прымиркувалы напысаты просьбу до царя видъ усього ихъ конклаву и прохаты слизно, щобъ винъ за выдатни капитанови добродители зновъ переключывъ його до гвардіи. Не скажу, чы то по ихъ, чы по чій другій просьби, але ще черезъ два роки капитана взяли, тильки не до гвардіи, а до миста Вологды пидъ доглядъ полиціи.

Впродовжъ тыхъ двохъ рокивъ винъ завивъ ще зъ десятокъ слизныхъ мельодрамъ, а останню, найпатетичнійшу, онъ зъ якымъ змистомъ.

Рушаючы въ Москву, дисталы мы наказъ, щобъ вагенбургъ и яку другу полкову вагу покынуты въ Муроми, зъ чого слидъ було вивести, що мы небавомъ зновъ повернемось на стари кватыри. Офицеры, хто мавъ путящи кватыры, лышылы ихъ за собою; я тежъ лышывъ соби свою кватыру и въ ній мебель и

другу непохватку мизерію. Полковий командирь, спасиби йому, уваживъ мою просьбу оддаты мени Тумана; а я виддавъ Туманови до рукъ свою кватыру и все, що до неї належало. Прощаючысь зъ нимъ, я йому наказувавъ—наче ока доглядаты Варочку и якъ найридше дѳзволюты ій одвидувагы фѳршалку: „бо ты-жъ самъ знаєшь,—кажу йому,—що за звірь зостається у мисти! Бува, попадеться йому якъ-небудь на очи, то тоди жъ пропала!“

— Бога гнивыте, ваше высокоблагородіє,—каже,—воно-жъ ще дытына!

Я й замовкъ, знаючы вже, що ничимъ не впевнены мого упертого земляка; а сій дытнини,—уважайте,—мынало вже пѳятнадцате литечко.

Сходылы мы въ Москву и назадъ гараздливо вернулыся. Въ Муроми тежъ усе, якъ и перше було. Кватыру свою й все добро заставъ я въ найкращимъ догляди; та инакше й буты не могло. Варочка зустріла мене зъ справжньою дитською шырою радистью. А Туманъ росповивъ мени, що все гараздъ, и дякувавъ, що я його кынувъ у Муроми, бо винъ, каже, за сей часть устыгъ навчытысь выводуты на папери цыфры та й копійчыну добру такы збывъ: усе мисто надилывъ чобитьмы, а останній мисяць, трѳхы чы не ввесь, робывъ на самого капитана.

— Ну, початокъ зроблений,—подумавъ я.

— А винъ не заходывъ инколы до тебе чоботы прымирюваты?—пытаю Тумана.

— Заходывъ, ваше высокоблагородіе; разивъ килькы заходывъ.

— Погано,—подумавъ я, та й видпустывъ простосердого добрягу, ни слова не сказавшы першымъ разомъ.

Другого дня пытаю його, хто його рекомендувавъ капитанови. Туманъ трохы замаяся, а дали каже:

— Признаться сказать, ваше высокоблагородіе, фершалка.

— А що я тобі казавъ, выходячы у Москву?— пытаю.

— Памъятаю, ваше высокоблагородіе.

— Ни, ты забувъ уже, не знаешъ; прыгадай лышь та подумай гарненко, цо зъ сього може статысь? А винъ бачывъ у тебе Варочку?

— Бачывъ, ваше высокоблагородіе.

— И балакавъ зъ нею?

— Балакавъ, ваше высокоблагородіе.

— И за чоботы платывъ, не торгувавшысь?

— Не торгувавшысь, ваше высокоблагородіе; навить у-передъ, скильки хочъ, дававъ грошей; тилькы я не бравъ, бо не треба було.

— Бачышъ, Тумане, якъ я васъ знаю! Слухай-же: видъ сьогодняшнього дня Боже тебе бороны, щобъ ты хочъ за ворота пустывъ безъ себе свою Варочку; а то прощайся зъ нею на-вики! Чуешъ?

— Чую, ваше высокоблагородіе.

— Такъ ото жъ слухай та не забувай, а то й тебе й мене Богъ покарае за нашу недбалість: за чужу дытну мы бильше видповидаемъ и людямъ и Бого-

ви! Иды жъ, Тумане, до свого дила!—скинчывъ я свою проповидь.

— Спасыби за науку, ваше высокоблагородіе!—промовывъ розмяклий Туманъ та й пишовъ.

Писля сього винъ що-ранку, говорачы мени про те, якъ гараздъ по хазайству, разомъ додававъ и про прыгоды свои зъ Варочкою. Ходылы вони, та й то разъ або два на тыждень, на берегъ Оки до рыбалокъ, або просто гуляты, инколы й до фершалкы выпыты чаю; на тимъ и кинчалысь ихъ гулянкы. Та ще разъ у тыждень, що-недили, до церкви святыхъ угодныкивъ Флора й Лавра.

А тымъ часомъ у мисти, се-бъ-то середъ дворянъ та навить и сытыхъ купцивъ, коилася буча за бучею шо-найбезсоромнійшого змисту; а головнымъ діячемъ у всихъ тыхъ новелахъ бувъ, звисно, нашъ безглуздый капитанъ. На зиму въ мисти, якъ и въ перши зимы, збывся дворянський клубъ, чы то собраніе. На першій та другій збирци я, хочъ и бувъ, проте не примитывъ ничего незвычайного; а вже други помитылы та й мени переказувалы, що на бали не показувалась ни одна повитова „львыця“, а вынуватый у тому бувъ такы жъ не хто другый, якъ нашъ же безглуздый капитанъ. Выгадувалы найпаскуднійши брехни, на котрыхъ винъ не покладавъ увагы, перебрихувалы ихъ стыха, млосно позираючы на катюгу-капитана.

До церкви ходывъ я до святыхъ мученикивъ Борыса й Глиба, що въ Благовищенськимъ монастыри; а то якось заманулось мени питы до службы въ цер-

кву Флора й Лавра. Ввійшовъ, перехрестывсь. Дивлюсь—передчуття мене не обмануло: стоить капитанъ, а попередь його ступнивъ за два—Варочка; биля неи фершалка, шепче щось їй надъ ухомъ та лишть свичкы до образивъ. Капитанъ такъ гостро дывывсь у потылицю на товсту, стемна русу, Варочкину косу, що не помитывъ, якъ я пройшовъ повзъ нього и зупынився майже поплить зъ Варочкою. Чудна ричть! Напрыкладъ, що-дня задывляючысь на Варочкину красу, я ни разу не примитывъ такихъ прывабныхъ, сказаты—плястычныхъ подробыць, якъ теперь, у церкви; отъ хочъ: на билому прегарному круглому затылку прозоро повылыся кучери! Се жъ, вамъ сказаты, то така діявольська прывабнисть, проты якои не выкрепты чоловикови. Перехрестывся я та й пройшовъ килькы ступнивъ упередь. Писля службы стрився капитанъ на паперти. Я примитывъ, що йому дуже хотилося завернуты до мене. Але я хытро одманеврувавъ, попрошався зъ нымъ на перехрестку та й пишовъ до кватыри полкового командира, де його хочъ и выталы, але зъ опаскою; бо, правду кажучы, командиръ нашъ бувъ уже старый, а командирша—баба така, що добре гляды, та ще й Нимкеня! такъ воно, бачыте, небезпечно було пускаты до хаты такого звиря, якъ капитанъ.

Другого дня я й пытаю Тумана: „А який теперь Варочки рикъ иде“?

Довго винъ рахувавъ на пальцяхъ, а нарешти й каже:

— Одъ Варвары пишовъ симнадцяты.

— Эге,—думаю,—симнадцяты! Страшно!—та й роз-
скажую йому, що я вчора въ церкви помитывъ, и чого
писля сього можна, та навить и треба, чекаты.

Довго мовчавъ Туманъ, повисывшы голову, а
дали зитхнувъ та й каже, немовъ про себе:

— Морока, та й годи!

Помовчавъ та й знову:

— Порадьте, ваше высокоблагородіе: що мени зъ
нею робыты?

— А що робыты? Найты путящего чоловика та вид-
даты замижъ; а бильше я ніякои помочи не знаю.

— Замижъ... замижъ... — шепотивъ винъ. — За-
мижъ?.. За кого-жъ?—Ни за кого!—промовывъ винъ
дужче.—Пропаду я, здохну, якъ стара собака-та, безъ
неи, ваше высокоблагородіе!

— Ну, такъ самъ оженысь!

— Не можна, ваше высокоблагородіе,—грихъ одъ
Бога: вона моя дытна, и люде пальцями показуваты-
мутъ: бачъ, скажуть, старый дурень для чого выгуду-
вавъ байстря.

Винъ зновъ повисывъ голову и замыслывся.

Дывлячысь на його, й самому мени стало тяжко.
Добре бъ було, думавъ я, колы бъ уси ридни батькы
такъ кохалы своихъ дитей, якъ сей сердега годо-
ванку.

— Ну, що жъ ты надумавъ, Тумане?—пытаю його.

— Ничого.

— Такъ доки що, й не выгадуї ничего; дывысь тилькы за нею гарненько. Може, Богъ дасть, и мынесться беда.

Я тымъ такъ казавъ, що капитановы жарты що дали здавались на денный розбїй, то полковый командиръ уже двичи арестувавъ його за чоловика несправного й поганого для полку.

Минуло лито. Наступылы довги, темни осинни вечоры, а зъ нумы й ихъ попутчыци—грязь та туга.

Було вечорама Туманъ сыдыть у свой хати передъ скляннмъ, налытымъ водою, глобусомъ та халяву сточуе; а въ кутку, бия столыка, Варочка—або тежъ за работою, або чытае жыттепысь Варвары велькомученыци; и що-разу, якъ вона промовляла Дюско-рове ймення, Туманъ спльовувавъ и шепотивъ пидъ нись соби: „собака!“ Була въ ныхъ ще й друга наставна кныжка: жыттепысь святыхъ Петра й Февронїи, що нетлинно покоиысь тутъ у Муроми, въ Благовещенськимъ монастыри. Але сю кныжку вона не такъ часто чытала, мабутъ, тымъ, що велькомученыця Варвара була ии патронкою. Якъ пробьють було „зорю“, то й я було зайду до ныхъ; то такъ тыхо та гарно пролыне въ мене часъ до вечери, якъ никоы ни перше, ни потимъ не мынавъ винъ по гостинныхъ у багатыривъ.

Тутъ бы до речи було намалюваты красуню-Варочку на взиръ Куманської Сывылы Кыпренського, або прямо молоду красуню, що бия свитла чытае кныжку, вдачи флямандського майстра Рембрандта. Але, сказа-

ты прямо, не по мени ся праця, та до того—я ще й ворогъ великый самоукивъ художныкывъ; а шо до сього, то я бувъ гирше всякого самоука. Я, немовъ молодой поэтъ, цѣлымы годнымы не зводывъ зъ неи очей, и, Богъ знае, яки думкы роилися въ мене въ голови. Була у мене ще за дытныного вику мижъ иншымъ охота до малярства; але батько мій—сущый суворовскый салдаты; думкы у його про малярство и взагали про штуку були дуже грубіянскы, чы ще краще мовыты—не тямывъ винъ ничого. Маты моя була геть бильше за батька освичена и, якъ жинка, сама того не видаючи, по натури своій, хочъ и несвидомо, видчувала прывабнисть чого нерукотворного; и ій вподобалось помичаты у мене такє саме чуття; але щобъ присвятыты якій-небудь штуци чы науци, то про се вона й гадаты не смѣла.

Разъ якось, показуючы батькови мій малюнокъ, маты йому й каже:

— А шо, колы бъ його виддаты до академіи художествъ? Може бъ зъ нього выйшовъ гарный художныкъ...

— Що такє?!—одповивъ батько, гризно повившы на неи очыма.—Художныкъ?... Маляръ?!... Ты, здаеться, пьяна була та не проспалась? Художныкъ! Ха, ха, ха!.. Художныкъ!.. Та ты погадай, мудра голово, чы то-жъ дворянскє дѣло фарбамы калятысь?! До академіи?! У гуртъ зъ хлопамы!.. Дуже гарну карьеру вподобала ты своему сынови! Прегарну, ничого сказаты!

И, взявшы мене на руки, додавъ:

— Ни, братъ Сашко, ты въ мене справжнімъ салдатомъ будешъ.

За рикъ писля отіеи сцены одвезлы мене до шляхетського кадетського корпусу. Зъ мене дійсно вийшовъ справжній салдатъ,—та й бильше ничего. Теперь я думаю, якъ бы гарно було, колы-бъ я бувъ художникомъ: я бъ передавъ на полотни далекимъ поколіннямъ Варчину прывабність, подибно, якъ Рафаэль обезсмертивъ свою Форнарыну, або Гвидо-Рени — непорочну Беатриче-Ченчи; але теперь про се годи й гадаты.

Чудно якось зъ людмы буває: отъ, наприкладъ, чоловикъ обачный; винъ за рикъ ще, за два добачає лыхо, ужыває всихъ заходивъ, щобъ одвернуты його видъ себе; дня й ночи не спыть, уши—очи його и вся истота невпынно вартує; а пидъ годыну нещастя—якъ разъ визьме та й засне, та якъ ще засне!—Якъ найщасливища людына!

Отакъ саме и намъ теперь сталося. Наблыжалося вже до риздяныхъ святъ. Туманъ, якъ и звичайно пидъ такой часъ, завалений бувъ роботою. Я на ту пору прохавъ навить адъютанта, щобъ и на муштру його не турбуваты: нехай, думаю соби, чоловикъ прыслучаи яку зайву копійчыну заробыть. Отъ якось видправившы фельдфебеливъ, я звичайно соби запальвъ люлечку, одягъ архалука та й пишовъ до Тумана.

Прыхожу: винъ сыдыть за роботою передъ скляннимъ глобусомъ. Край столу свичка горыть, ажъ мыгыть; передъ нею лежыть розгорнута кныжка, а Варочки нема. Ну, щобъ мени догадатысь та спытаты,

чы давно выйшла! Правда, чоґо тамъ и пытаты: свичка палюча добре вказувала, шо давно; а я ще й гаръ знявъ зъ свичкы та й сивъ соби, ничего не гадаючы. Роспытую Тумана, скильки винъ паръ чобитъ пошывъ та скильки ще сподивається пошыты до святъ, та скильки бере за чоботы; чы вважае на те: зъ кого, чы зъ усихъ однаково? На се винъ мени дуже довидно видповивъ: „Однаково, бо й роблю однаково.“ Потимъ ни зъ того ни зъ сього перескочылы до выховання взагали, балакалы про свои закордонни прыгоды, дали про тутьчынськи маневры, а нарешти ричъ звернулы на небижчыка Володю.

— Эге,—каже Туманъ,—не дурно кажуть, шо волюсь довгый, та розумъ короткий. Та й то такы,—додавъ винъ,—молоде, дурне, а може ще й сырота, доглянуты було никому.

Та, сказавшы се, глянувъ на те мисце, де повинна була сьидиты Варочка, та й прымитно зминувся зъ выду: дывыться й очей не зведе зъ огарка та розгорнутой кныжки.

— Мовчыть, не реве, ажъ ии й дома нема!—промовывъ винъ майже нечутно та, звернувшысь до мене, й каже:

— Я думаю, чомъ вона не чытае, ажъ ии и въ хати нема!

Винъ швыдко пидвивсь и зъ роботою въ рукахъ выйшовъ зъ хаты. Хвылынъ черезъ десять винъ збентежений вернувьсь.—А шо?—пытаю. Еинъ тилькы губамы меле шось и слова не промовыть; нарешти, якось

шепочучы, промовывъ: „нема!“ Я тежъ схопывсь.— Бижы,—кажу,—до фершалкы. А самъ на живу руку одягся та до городнычого, довесты про такой случай та прохаты, щобъ винъ узавъ свои миры. Але що жъ значыла за тыхъ часивъ полиція по повитовыхъ мистахъ? Ничогисинько! Вертаюсь до господы, захожу до Тумана: думка, що винъ уже тежъ вернувся. Ажъ йому й вертатысь було ничего, бо я його якъ кынувъ, такъ на тимъ мисци винъ и остався, якъ окамъянилий. Пытаю у його, чы бувъ у фершалкы, такъ винъ тилькы писля того, якъ я його килькы разъ перепытавъ, насылу промовывъ: ни! Кынувъ я його, обійшовъ ще разъ уси хаты, навидався разивъ зо-два въ людську, у пекарню—шукавъ, якъ звычайно шукають яку дрибныщю, якъ загубытсь,—разъ десять на однимъ мисци.

Уси куткы вынышпорывъ: за шухлядкою, пидъ канапкою; та такы впевнывшысь, що Варочки нема нигде, лигъ,—думавъ заснуты. Такъ ни: що звезу очи,—такъ и стане передо мною або капитанъ, або Варочка. До самого свиту корчывсь я на лижку, якъ карась на сковороди. На свитанни вставъ, иду подывытсь, що Туманъ робыть, бо въ-ночи я його покынувъ такимъ, що й дывытсь було жаль. Одхыляю потыхеньку двери: въ хати блымае свитло; свичка догорае передъ скляннмъ глобусомъ, а по сей бикъ глобусу на своимъ робочимъ стильци Туманъ сидыть, схылившы голову на руки. Я зразу думавъ, що винъ спыть, та й зъ хаты хотивъ выйтъ; ажъ винъ пиддывъ голову, подывывсь на мене и ледве чутно промовыъ: нема! } Та

такъ сумно промовывъ се, що я не абы-якъ злякався за його. Винъ зновъ схлывъ на руки голову. Я й пишовъ потыхеньку зъ-хаты, добре впевнений, що ніякою розвагою не сыла було розбудыты його видъ сеи страшнои летаргіи. А спытаты й справди бъ у психологивъ, якъ то воно впливає на душу найщырїйша розвага пидъ таку страшно крытычну годину, яку теперь перебувала душа мого сердешного Тумана. Скажу про себе: за пивъ-лыха на мене дуже гарно впливала не тильки щыра, а хочъ тильки дружа участливість; але за справжнього горя,—тоди, якъ душа твоя ховається въ шо-найтемнійшый куточокъ, куды й власна думка зайты не насміе,—тоди найнижнійша й найщырїйша розвага стае пекучою отрутою. Гымъ я й нещасного Тумана не видважнвся розважаты.

Ранкомъ пишовъ до городнычого довидатысь, чы нема якого слиду. На дорози стричається знайомый та писля першыхъ привитань и пытае:

— Якъ се такъ сталося, що въ васъ здорова дивка пропала?

Я йому й не видповивъ ни словомъ, вернувсь додому: и до городнычого шкода було ходыты. Тилькы те й зумивъ винъ зробыты, що того жъ дня про нашу пропажу по всихъ вулычкахъ дзвоннылы. Писля сього якый же тамъ слідъ знайдешъ!

Тры дни й тры ноци просыдивъ нещасный Туманъ на своимъ стильци, головы не пидводочы. Я злякався, порадывся зъ ликаремъ. Розумный ликаръ тилькы й звеливъ видчыныты на килькы годинъ викно або двери

(а се було, якъ я казавъ, зимою). Я въ ликарськихъ наукахъ ни капли не вынний та, стараючысь, взявъ та й видчынывъ потыхеньку заразомъ и двери, й викно. Мынае годына, друга,—я все позыраю то въ викно, то въ двери: що то выйде зъ тієї операції?

Дывлюсь, такъ уже надъ вечиръ почавъ Туманъ здригуватысь, а черезъ годыну пидвивсь, озырнувся кругомъ, зачынывъ викно й двери, походявъ по хати зъ пивъ годыны, здригуючы та на-сылу чутно кажучы: „Отъ тоби й на“, дали лигъ, або, краще сказаты, впавъ на лижко и кожухомъ укрывсь. Мени здалось, що винъ заснувъ. Слава жъ тоби, Господы!—думаю, та й пишовъ трохи спочыты. Не встыгъ я чаю напытысь, ажъ деншыкъ каже мени, що Туманъ кыдається, стогне й мене до себе просыть. Прыхожу, пытаю:

— Що тоби, Якиме?

— Ничого. Спына... холодно. Сумно! Що знаете, те й робить.

Я бачу, що дило погане, пославъ по ликаря, а самъ остався зъ нымъ. Повернется килькы разъ до мене та й крычыть:

— Пыть! Дайте пыть, а то згорю!

Дамъ йому чайну чашку квасу,—трохи стышыться. Прыйшовъ ликаръ, помацавъ живчыка, подывывся на свого „брегета“ зъ секунднымъ, та и каже:

— Гарячка! Заразъ же одправте його до шпыталю. Я його заразъ и одправывъ.

Мисяцивъ зо два або и бильшь пролежавъ сердешный Туманъ у шпыталю. Вже й ликаръ самъ по-

чавъ боятысь, що винъ не выдужае окреме на останнихъ дняхъ гарячки, чы, якъ кажуть, на переломи хворобы.

Колы такы зализна натура недужого перемогла: пидъ кинецъ першого мисяця винъ уже здолавъ безъ чужои помочи пидвестысь съ постели, а до другого вже й гулявъ бадьоро корыдоромъ та все прохавъ йисты, чого йому, звисно, заборонялы.

Колы Туманъ нездужавъ, я все, що тилькы можна було, робывъ, щобъ знайти хочъ темни слиды нашої утикачки: завивъ власныхъ лазутчыкывъ, самыхъ невысыпушыхъ; фельдфебели що-вечора доводылы до мене коженъ рухъ капитанывъ, кожный ступинь його було видно й на лику въ моихъ вирныхъ агентывъ, а слиду нѣкисинького, якъ въ воду канула! И не тилькы я, а вси городяне вказувалы на капитана; такъ що-жъ ты вдіешъ?—провынныкъ тутъ, а доводу нѣкогого! Мымоволи злодія-звиря мусышь называты людыною!

Ставъ уже Туманъ одужуваты, якъ зъ Владимира прыйихавъ жандармський офицеръ, забравъ нашого капитана та повизъ у Вологду. Я ще жъ такы не кыдавъ надію, напысавъ сторонне пысьмо до вологодського полицмейстера, просячы його, щобъ винъ оповистывъ мене, хто власне прыйиде зъ отакымъ-то капитаномъ, та чы не буде мижъ його челядію молодои дивчыны. Опысавъ я й прыкметы Варчыны. Не меншъ, якъ за пивъ року одбираю я лыста видъ вологодського полицмейстера, де описаны зъ великымы по

дробыцямъ якъ самъ панъ, такъ и його челядь, а мижъ ными й комнатный Клымко.

„Помянутый Клымко,—пысавъ полицмейстеръ,—черезъ чотыри мисяци видъ капитана втикъ, и де теперь обритається,—невидомо; а дивчыны,—пысавъ винъ дали,—про яку вы пышете,—въ нашъ городъ не прыбуло зъ нымъ ніякои. Спершу гомонили, що помянутый козачокъ Клымко—немовъ бы то жинка переряжена, але жъ то бабськи брехни та й бильше ничего. Я тымъ такъ думаю, що якъ бы чоловікъ не распутствувавъ, а все-жъ не пиде на таке злочынне дило; та й те ще сій брехни суперечыть, що въ дивчыны, твориння и физычно й морально слабого, на таке, якъ напрыкладъ утикты, и видвагы не выстачыть, бо одважыться на се и чоловікъ не кожный. Гадаю,—не треба пысаты вамъ про самого капитана: маю надію, що вы його добре знаете; скажу хиба, що винъ и на волосынку не переминовся“.

Лысть зввычайно кинчався здавна вжываною ввичлывостью, та й годи. „Певно, вологодський полицмейстеръ—простодушный добряга,—подумавъ я.—Якъ такы можна не впевнытысь справди, що то бабськи брехни, якъ винъ каже? Чы можна жъ було вагатысь за капитанове злочынство, прочытавшы його формуляръ? А полицмейстеръ певно жъ чытавъ його. Простота, та й годи“.

Що жъ було мени ще діяты? Я добре бувъ упевнений, що козачокъ Клымко не хто инший, якъ наша Варочка. Сердешна! Долю свою добула собі за

спадщину по матери; колы бѣ же й краю не знайшла такъ, якъ його знайшла покійныця. Та де жѣ вона теперъ? Сыдыть, гадаю, въ Пошехонській або якій другій тюрми та вошей годуе. А може вже ии й на свити нема? Писля довгого часу миркування прырадывъ я соби податы оповистку въ „Московскія Вѣдомости“, бо „Губернскихъ Вѣдомостей“ тоди ще не було. Отакъ зробывшы, я видважывся подилытысь своею надією зъ Туманомъ; видважывся, кажу я черезъ те що Туманъ хочъ писля горячки й зовсимъ выдужывъ, але, не вважаючы на те, що вже висимъ мисящивъ мынуло, якъ Варочци згнуты, винъ все ще скидався на божевильного. Винъ и до того бувъ не говиркый, а теперъ такъ и надто замовкъ; ремисныцтво свое кынувъ и сидивъ цылымы днямы, схлывшы голову на руку, въ свой хати. Одного я боявся: щобъ винъ не почавъ пыты; але, хвалыты Бога, сього не сталось. Такъ отъ я й не втерпивъ побалакаты зъ нымъ про Варочку, гадаючы, що надія пидбадьорыть його сумну думу, та якось у-ранци, писля рапорту про благополуччя въ хазяйствы, и розказавъ йому про свою знахидку. Довго стоявъ винъ передъ мене, повисывшы голову. Я пройшовъ килька разывъ по хати; винъ, якъ статуя, не ворущывся. Я хотивъ йому щось таке сказаты, ажъ дывлюсь,—а въ нього зпидъ прыплющенныхъ вий слезы, якъ горохъ,—капъ... капъ... а дали винъ зитхнувъ и ледве чутно промовивъ: „капитанша!“—та й пишовъ зъ хаты, повернувшы на ливо кругомъ. Подывывся я у-слидъ його та й покаявся гирко за свою необачнисть.

Діялося се въ-осены. Въ полку дозволены були одпускы на рикъ и на пивъ року. Другого дня приходять Туманъ, каже, що винъ поданый до одпуску на пивъ року, и просыть мене, щобъ я не заборонявъ йому.

— Схожу,—каже,—до-дому, чы не лучче буде.

— Иды,—кажу йому,—зъ Богомъ!—Та й прошу його, якъ итыме черезъ Глухивъ, то щобъ зайшовъ на мій хутиръ подывытысь, що тамъ робытыся.

— Добре, зайду.

За тыждень дали йому билета; винъ, попрощавшысь зи мною, и пишовъ.

Дурно сподивався я добуткивъ зъ своєї оповисткы: не вышло зъ того ничого; а мисяцивъ черезъ тры писля того, якъ Туманъ пишовъ до-дому, кажуть мени, що винъ вернувся.

Я здывувався, що такъ скоро. Ввыйшовъ, дывлюсь,—Туманъ помагае вылизты зъ невеличкои, на одну конячку, рогожанои балагуры якійсь закутаній и въ нагольній кожушанци жинци зъ дытыною на рукахъ. Побачывшы мене, винъ весело промовывъ:

— Найшовъ, найшовъ, ваше высокоблагородіе!

Справди, се була Варочка. Але яка рижныця проты колышньої Варочки!—змарнила, худа...

Вона виддала дытыну на руки Туманови и, якъ несамовыта, кынулася мени въ ноги й заголосыла. Дытына прокынулася на рукахъ у Тумана и заплакала: винъ и понисъ іи въ хату, прыголублюючы. Я пид-

вивъ Варочку—вона голосыла—и повивъ їи слидкомъ за Туманомъ.

Другого дня Туманъ зновъ узявъ мое хазяйство до своихъ рукъ, и въ хати въ насъ усе пишло по-прежньому. Одного разу я пытаю його, де винъ найшовъ свою Варочку.

— Де найшовъ?—Въ Молози, въ тюрми.

Охота моя довидатись про се не зовсимъ була задоволена його видповідю; але я знавъ, що винъ не охочый бувъ до подробыць, то вже й не перепытувавъ його. Варочка якый часъ зъ своєї хати не выходила никуды, видъ мене навить тежъ ховалась, то мени здавалося нїяково до нихъ заходыты. Тумана я що-дня пытавъ про здоровья їи й дытны,—винъ видподавъ мени:

— Дякуваты Богу мылосердому,—обое здорови.

Занудывся я за Варочкою. Отъ разъ якось, видпустывшы фельдфебеливъ, зайшовъ я до нихъ у хату и якъ перше було, такъ и теперь: Варочка читала жыття Варвары великомученыци, а Туманъ сидивъ супроты неи та хытавъ на рукахъ Оленку. Николы я не забуду ту справи моралїйну картину.

Другого дня писля мого визыту прыйшовъ, якъ зввычайно, до мене Туманъ та й каже:

— Ваше высокоблагородїе! Я думаю женыться, щобъ люде головою не кывалы та пальцямы на насъ не показувалы.

— Благороднїйшыи ты чоловикъ!—подумавъ я. Того жъ дня выклопотавъ я йому дозвиль видъ полкового

командира, а въ другу недилю я буѣ на весилли въ Тумана за батька.

Довго ще пилса весилля Варочка була сумна та замыслена и, окримъ церкви, нигде не показувалась. Тумана вона, якъ и перше було, звала татомъ и часто плакала, дывлячысь, якъ винъ жалуе ии Оленку, немовъ свою ридну дытynu. Де дали, по-просту вона почала забувала мынуле, стала заходьты до моеи хаты,—спершу, якъ мене не було, а потимъ и пры мени. Одежу мою и все, що вымагало жиночого догляду, взяла вона пидъ свою опиду, то кращои й справнійшои хазяйки й домагатысь не можна було. Разъ якось въ-ранши заходьты вона до мене зъ Оленкою на рукахъ, весела така та щаслыва. Я попросывъ ии до чаю, посадывъ коло себе, та стороною й повивъ ричъ про те, якъ вона втикла и де була схована капитаномъ до выйизду въ Вологду.

Спершу спытавъ ии, чы бувае вона въ фершалкы.

— Николы не буваю,—видповидае.

— Чомъ же ты не буваешъ?—пытаю:—вы жъ булы такы блызькы прытелькы?

— Гарни прытелькы! Гыдка вона, схыдна! Колы бъ не вона, я бъ и доси не знала ничего; се вона все настроила,—заплакала Варочка.

Трохы згодомъ я й кажу:

— А доброго такы клопоту ты тоди наробыла! Сердешный Туманъ трохы въ домовыну не лигъ. Ну, я й доси не прыдумаю, де бъ тоби буты тоди схованій, бо

я тоди вси мышачи ниркы въ мисти перешарывъ.
Розскажы, будь ласка, якъ се такъ сталось!

— Ось якъ,—каже, вытираючи сльозы.—Знаете: того жъ дня першый снигъ упавъ. Фершалка, бодай вона була проклята, и пидмовыла мене покататысь зъ нею въ-вечери. Я й пишла до неи безъ спросу, а свичку й кныжку кынула на столи: думала,—заразъ вернусь, никто не знатыме, де й була. Прийшла до фершалкы, а въ неи самоваръ на столи. Налыла вона мени чашку чаю; чай бувъ такый смашный, що я попрохала ще й другу, а дали й третю, и такъ мени стало гарно, такъ весело, що я й танцюваты була готова, що все на свити я тоди забула. Того часу проты виконъ на вулицы стали сани. Выйшли мы, силы й пойихалы. Довго мы йиздылы по мисту, такъ довго, що мени ажъ спаты захо-тилось, та такъ, що не знаю вже, якъ я й заснула. Проснулася въ темній хати; кругомъ темно, тилькы въ вузеньки щилны кризь виконыци свить пробывається. Стала я прыгадуваты вчорашне катання,—ну, тилькы й змогла прыгадаты самъ чай та фершалку, та й то наче у ви-сни. Незабаромъ видчынылысь двери, увиходыть сильська баба зъ свичкою въ рукахъ.

Пытаю ии:

— Де я?

— У добрыхъ людей,—каже.

— Якъ же я тутъ опынылася?

— Тебе на вулицы пиднялы: выдко, кони скажсни зъ саней выкынули. Чы тоби не треба чого?—пытае, ставлючы свичку на стиль.

— Ни, ничего,—кажу. Баба взяла зъ стола свичку и пишла зъ хаты, нахнувши крЮчкомъ за собою двери.

Я все думала про те, де я и що зо мною думаютъ робыты; довго я думала, а нарешти зновъ заснула. Якъ я проснулася вдруге, то свиту вже кризь щилыны не було выдно. Голова въ мене не те, щобъ болила, а кругомъ ишла гирше всякого болю. Я почала плакаты. Ввйшла зновъ та баба зъ свичкою, стала мене умовляты, даючы мени чаю та всякихъ ласощивъ. Я не хотила та прохала ии сказаты, де я. Пытала про васъ, про тата, про наше мисто, чы далеко воно. Баба казала, що ни васъ, ни тата не знае, а такогo миста, и забожылася, що й не чула зроду; дали зновъ давала мени чаю,—я не схотила; давала вечеряты,—не схотила; вона засвityла лямпадку й пишла зъ хаты. Я схопылася зъ постели, кынулася до дверей, але вона встыгла защипнуты ихъ крЮчкомъ. Трохы згодомъ за дверыма чутно стало чоловичу ричъ; ричъ и знайома мени, та я нйакъ не могла згадаты, де ии чула.

Пытало:

— А що, теперь ий краше?

Баба каже:

— Однаково, батечку,—все щось верзе та кыдається.

— Ну, добре,—зновъ та-жъ ричъ,—я до неи прышло завтра ликаря.

— Невже то вони про мене балакаютъ? Хиба я справди хвора?—подумала я. Проте ликаря не було, я й заспокоилась.

Довго сидила я въ тій заклятій тюрми, трохи була не збожеволила зъ туги. За весь сей часъ никого я не бачыла, окрімъ тои гыдкои бабы; тилькы за день уже до того, якъ йому взяты мене зъ собою, увиходыть до мене фершалка зъ пакунками въ рукахъ. Я їй, якъ матери ридній, зрадила. Стала вона мене умо-вляты, обищаты Богъ знае яки радости въ будущыни, абы бъ тилькы я їй у всимъ скорылась. Сказала вона мени острыгтысь та перебраться въ парубоцьке вбрання,— я не схотила; вона страхала мене довичною тюрмою,— я й послухалась. Ножныци булы въ неи зъ собою, заразь же вона мени й косу видризала. И плакала жъ я тоди,—Господы!... Дали дистала зъ пакунку парубоцьку одежу, одягла мене и тилькы була почала на мене красуватьсь, яка я въ тимъ убранни хороша, якъ увійшла баба, каже: „прыйхалы“. Поспишаючы выйшли мы на двирь.

Було вже темно. За воритьмы стояло дви балагулы,—одна бильша, а друга трохи менша. Фершалка посадила мене въ бильшу балагулу, перехрестыла. Кони рушылы. А що дали було, то вы знаете,—промовыла Варочка плачучы.

Небавомъ знялася польська революція. Корпусови нашому було звелено рушыты на Лытву. Що було у мене зайвого, я одиславъ на хутирь, до себе до-дому, та пидмовлявъ Тумана, щобъ винъ и Варочку зъ дытною одпустывъ зъ пидводамы до мене на хутирь. Винъ такъ и зробывъ, мы й рушылы возомъ у похидъ.

Після кампаніи взявъ я одставку, ввійшовъ полковникомъ. Небавомъ Туманъ выслуживсь; винъ прійшовъ до мене на хутирь. Хотивъ я настановити його за прыказчыка, але мени й самому ничего було робыты коло свого мизерного хазяйства, то я й виддавъ йому на прожиття коршму, що била Эсманя, бесплатно, за колышни його послугы, та й Викторкови своему заповивъ те-жъ робыты, якъ мене не стане на свити.

И я, докы жытому, робытому те саме.

„Викторъ Н. Н.“

Прочытавши отсе оповидання, замыслывся я, и въ мой думци суворый ветеранъ-коршмаръ перевернувся въ такую людыну—хрыстіянына, що дай Боже, щобъ и вси були хочъ трохи схожи на нього. Мои думкы радисни перебувъ мени голосный крыкъ: „Чортъ знае що!“ Двери видчынылись, и въ хату ввійшовъ мій прыатель, держучы въ рукахъ мою гармонію та все прыказуючы: „Чортъ знае що! Я думавъ, що винъ ій що путне подарувавъ. Полтынникъ! Бильшь не варта!“—колы побачывши въ рукахъ свій рукопысь, винъ немовъ отямывся и каже:

— Ну, якъ же оповидання? Чы ты ще не дочытавъ його?

— Ни, якъ-разъ передъ тымъ, якъ вамъ прійихаты, скинчывъ,—кажу.

— Ну, якъ же по-твойому: варта до друку, чы ни?

— Та ще й дуже.

— Отъ то-то й йе; а вони, дурни, думаютъ, що, не читавшы ничего, ничего й не напишешъ, а отже напишавъ!

— Дозвольте мени ии переписаты, такъ, для пам'яты,— кажу.

— Отъ, ще переписуваты! Визьмитъ такъ, якъ есть, та хочъ и друкуйте його—тільки такъ, якъ я вамъ и ранійше казавъ: щобъ не выставляты мого ймення.

Я пообещався. На двори вже стемнило. Напылысь мы чаю, погомонили ще трохи, одяглись та й поїхали до миста въ исторычный Мыколаивський соборъ слухаты „Діянія.“

Писля утрени прытель мій поїхавъ до себе на хутирь „похазяйнуваты“,—винъ казавъ; а якъ послы вышло, такъ за тымъ тильки, щобъ справыты „долгъ прыличія,“ се-бъ-то на незалежни плечи натягты фракъ; а я, не маючы знайомахъ и охоты знайомытысь, уважавъ отсю церемонію зайвою и лышывся у мисти, чекаючы службы Божои. Погода була гарна (що въ такую пору трапляється дуже ридко); на вулицяхъ було слыве зовсимъ сухо,—я й пишовъ блукаты по мисту, шукаты те мисце, де стояла знаменыта „Малороссійская Коллегія“ та палаць гетьмана Скоропадського, той самый, де винъ вытавъ „Данилича“, колы той зайиздывъ дякуваты гетьмана за гостынецъ, се-бъ-то за мисто Почепъ зъ волостію. А Данилычъ, не въ тима гвиздомъ бытый, взявъ та зъ нимецькою астролябією й одмежувавъ до Почипської волости сотни: Балакльнську, Мглынську та пивъ Стародубської, та й зайихавъ у

Глухивъ дякуваты гетьмана, а простакуватый гетьманъ, ничого того не видаючи, шануе свого пресвитлого гостя, ажъ погы пресвитлый гость на ознаку подякы, не звеливъ скласты проты палацу на майдани камъяного стовпа та вбыты въ нього пъять зализныхъ гакивъ: одинъ про гетьмана, а ти про старшыну, колы вони хочъ закънутыся тилькы передъ царемъ про немецку астролябію. Проте старшыны не злякалыся та, якъ булы въ Москви, пожалылыся на здырцю—грабижныка, й його за те покаралы.

А де-жъ той майданъ? де той палацъ? де Коллегія зъ своєю кровопыною марою—тайною канцелярією? де се все?—И слиду нема! Чудно! А все се такє недавне та свиже. Якыхъ сотня роківъ промынуло, а Глухивъ зъ резиденції гетьмана Вкраины зробився пераскуднымъ повитовымъ мистечкомъ.

Дзвинъ до службы перебивъ мой сумни питання, я перехрестывся та й пишовъ до мыколаевської церкви, однисинької памъяты мынулыхъ часивъ. На майдани доганяю чумацькый визъ, запряженный парою сирыхъ воливъ - велетнивъ. На вози сыдятъ дви жинкы въ бильхъ свиткахъ: одна въ стьожкахъ та въ барвинку, друга запята шовкою хусткою. Биля воливъ иде высокый чоловяга въ чорній кыреи и чорній смушевій шапци, зъ батогомъ у рукахъ. Зъ воза выглядає ще велька биля вязка—се паска зъ усимъ прычандаломъ, загорнута въ билу скатертыну.

Поривнявшысь зъ возомъ, дывуючысь пизнаю въ пойизжанахъ своихъ старыхъ знайомахъ—Гумана зъ

родыною. Вони зупинились, похристосувався я зъ усима, та балакаючи про те, що Господь давъ годину та такий день гарный рады такого великого свята, помалу наблизылися мы й до церкви.

Писля службы приятель мій у цвинтари умышлено похристосувався зъ кількома православными христіянами и зъ христіянками, а дали взявъ мене за руку та й веде до якогось невеличкого оклецьковатого чоловичка въ губернськимъ мундири, зъ червонимъ добродушнымъ лицемъ,—винъ тильки що вийшовъ зъ церкви,—похристосувався зъ нымъ та й каже, вказуючы на мене: „такий то!“ Я поклонився. А приятель и додає:

— Карль Самойловычъ Стернь, нашъ повитовый эскулапъ. Йому такъ подобається нашъ суще христіянськый звичай, що винъ що-року одягає мундира и йде до службы власне зъ-за сього свята; ще хоче й на нашу виру православну перейти, та тильки въ мене така думка, що бреше,—выбачай Карле Самойловычу!

Нимецъ моторно усмихнувся, мы й розійшысь.

Прыйихалы мы на хутирь,—я й здывувався, увійшовшы въ хату та не помичаючи ничего такого, чымъ бы можна було розговоритись. Хазяинъ, спостеригшы мое здывування, вывивъ мене въ сини та мовчки й показавъ на велики двери, про яки я гадавъ, що виходять въ садъ. Одчынувъ я ихъ, колы мои здывовани очи побачылы не садъ, якъ я гадавъ, а величезну дощану загороду зъ невеличкымы викнами до самыхъ хатъ: то була зала задля бенкетивъ. Середъ неи стоявъ стиль безкрай, застланный білою скатертыною. И, Господы,

чого тильки не було на тому столі! И все те въ найгомеричнійшимъ достатку. Бабуся, що вертилася біля стола, здавалася мухою супроти колосової пирамыды зъ тиста, вживаної за паску. Обикъ пирамыды, якъ сфынкси єгипетськи, по де-килька въ ряду лежали не поросята, а печени въ цилій вельчынни кабаны зъ хриновымъ кориннямъ у зубахъ и все инше въ такимъ же достатку. Навить горилка зъ сльвянкою стоялы по кинцяхъ стола въ велькыхъ барылахъ, застланыхъ серветкамъ; одно слово: все було цыкльопичне, и колы бь проснувся вельчній хіюський слипець, то й той бы тильки вуса закрутивъ та ще може бь подумавъ, що на хутори дождають Кадма зъ товариствомъ.

Хазяинъ, ходячы по зали тій, поглядавъ то на стиль, то на мене й усмихався самозадоволено. За чымъ же дило стало? Чого тутъ бракує?—думаю я:—Здається, можна-бь и за дило взятись. Чы винъ ще кого чекає? Я хочъ и не голодний бувъ, а не можна було спокійно дывытись на все се добро, найпаче на порося та на „бабу,“ що немовъ московська кубична купчыха,—била та червона; такъ бы й проковтнувъ усю разомъ, а хазяинъ, якъ ничего й не було, ходыть соби, тильки усмихається. Зъ пивъ годины, колы не бильше, мынуло чекаючы. Мени ажъ брехенька прыйшла на думку про царя та його коханого боярына. Боярынъ вирный у чымсь передъ царемъ прошпетывся. Отъ, царь не хотивъ пустыты въ дило огню та зализа, а продержавшы тры doby у темныци безъ воды й безъ хлиба свого вирного боярына, звеливъ податы соби мы-

ску доброго борщу та печене порося, та й покликавъ боярына на допытъ. Такъ що-жъ бы вы думалы?—За ложку борщу та поросячий хвостыкъ боярынъ въ усимъ признався. Я, правда, за собои жадной выны не видавъ, але мимохить думка брала, чы не хоче мій прыятель и зо мною таку штуку вдраты, якъ той царь зъ своимъ вирнымъ боярыномъ; тилькы чымъ же я передъ нимъ провнывся? Тоди саме видчнылысь двери, и въ залу ввійшла бабуся съ полумыскомъ у рукахъ; въ полумыску була свята вода и кропыло зъ сухыхъ васыльокъ.

Увиходячы въ залу, бабуся хутенько промовыла: „уже на гребли“! Прыятель мій выйшовъ у сини. Небавомъ чутно стало,—загуркотили колеса, а хвылынъ черезъ дви въ залу ввійшовъ пипъ въ эпित्रахыли, зъ дякамы й хазяиномъ. За крылошанамы увійшовъ Туманъ зъ своимы, а за нимъ поважно, смирно, поглажуючы вусы, почалы увиходыты селяне, и черезъ хвылыну найшло ихъ повна зала. Писля молютовъ пипъ, а за нимъ хазяинъ, а дали й я—похрыстосалыся зъ усима, хто бувъ, разговилыся шматочкомъ простого хлиба та тоди вже й узялыся, хто до чого мавъ охоту. Теперь тилькы стало знаты мени, на що отакъ по гигантському наготовлено було йижы й пытва. Мій прыятель (я зъ нимъ за се разъ десять похрыстосався) до буквы йшовъ за словомъ Златоустого, майстра слова, и за словамы любви й смиренности першыхъ хрыстіянъ. Тутъ не було ни крепака, ни пана,—бувъ тилькы гостынний хазяинъ та найнецеремоннійши гости.

Провившы попа та своїхъ крепакивъ—гостей, хазяинъ посадивъ за стилъ мене та Тумана зъ родыною, та й самъ сивъ мижъ нами, промовившы: „Отъ теперъ розговіємось“! Проты мене сьдила Оленка зъ матирью, такъ я теперъ тилькы роздывився на неи, якъ слидъ.— Се була суца красуня, що яка тилькы-що розцвила: густе русяве волосся, заплетене въ дви косы, перевыти жовтими й синими стричками та барвинкомъ, надавало якусь осибну свижисть іи зграбній голівци, а тонка била сорочка зъ прозорымъ гаптованнямъ на шырокихъ рукавахъ складалось на плечахъ та грудяхъ у таки складки, яки не снылися ни Скопазови, а-ни же Фьдїєви, одно слово—передъ мене сьдила богыня красы и непорочности. Поручъ зъ Оленочкою сьдила іи маты, колышня Варочка, а теперъ Варвара Ивановна, якъ іи звавъ самъ хазяинъ, а коло неи сьдивъ Туманъ, зъ усмихомъ покручючы свои били вуса. Я дывивсь на нього не якъ на простого коршмаря—старого вояку, а якъ на лыцаря велычнихъ моралійныхъ подій, якъ на чоловіка, хрыстіянына въ найшыршимъ змисти сього слова, и, прызнатися, завьдувавъ йому. Винъ здавався мени прещаслывымъ, та инакше й буты не могло. Чоловикъ, що такъ высоченно справывъ свои обовязкы до близькихъ, навить пры злыдняхъ й самотности мусивъ буты щаслывымъ, а його старистъ була въ достатку й мижъ найшырїйшымы й найнижнійшымы друзямы. Мени не траплялося бачнты такого зграбного твору скульптурной працы, щобъ такъ заспокоючы солодко, вабывъ до себе мои очи, якъ тыхе й спокійне лыце сього сы-

вого вельчнього героя добродителя. Озеровъ вповни почувавъ отсю прывабність, мовывшы Эдиповыми устами:

„Мой не увидить взоръ
Ни мужа кроткаго пріятнаго чела,
Котораго рука боговъ произвела...“

Встали мы зъ-за стола тыхо, немовъ зъ-за звычайнаго обиду, помолылися. Туманъ взявъ свою смушеву шапку, глянувъ на жинку та й ставъ прощатись зъ хазяиномъ. И завжды неговиркый, на сей разъ за столомъ винъ сядивъ зовсимъ нимо. Я думавъ було забалакаты про Блюхера або Бонапарте, але колы я глянувъ на нього, моя думка здалась прямо не до речи. Однимъ однисиньке слово почувъ я видъ нього теперъ, та й то вже на двори; колы посадивъ винъ уже на чумацького воза свою родыну, а волы вже рушылы зъ мисця, хазяинъ зъ порога пытае його:

— Такъ на проводы, батьку?...

— Эге,—одказавъ Туманъ та й пишовъ за возомъ.

У-вечери, за чаемъ, прыятель мій проты своєї вдачи бувъ замыслений. Я щось обизвався до його разивъ зо-два чы зо тры, а дали й самъ почавъ барабаныты объ стилъ пальцями. Уже бабуся й свичкы прынесла й самоваръ зъ прычандаломъ забрала, а мы все сядымо нерушымо та объ стилъ барабанымо. Не знаю вже, чы довго бъ ще длылась ота барабанна музыка, колы бъ я бувъ не зитхнувъ, такъ соби зничевъя. Прыятель мій пидвивъ голову, глянувъ на мене та й зареготався.

— Чуешъ, — каже, наредотавшысь до-схочу, — хай уже мое дило хазяйське, мени йе про вишо замыслытьсь и зитхнуты; а ты жъ якого чорта зитхаешъ?

— Хазяинъ мымохить переае свій настрій и гостямъ, — одповивъ я.

— Правда, правда твоя! А знаешъ шо?... — запытавъ винъ та й зновъ замовкъ.

— Колю скажешъ, то знатому.

— Маю я до тебе велику просьбу. Пообищай, шо справышь, такъ скажу.

— Колю скажешъ — яка, то й пообищаю.

— Погостюй у мене до провидъ!

— Не можна.

— Отъ то-то й йе! Прымусывъ мене видкрытысь йому зъ секретомъ, а теперь и назадъ. Се не лычыть путящій людны.

— Який же тутъ секретъ? — пытаю.

— А такый, — каже винъ, подумавшы, — шо на проводы въ мене думка винчатысь, а тебе бь прохавъ буты въ мене за боярына. Такъ якъ, згоджуешся?

Я, якъ чоловікъ тоди ни видъ кого не залежный, то не довго думавшы, й кажу: Добре!

— Отсе по-друзяцьки! — казавъ винъ, — такъ по-друзяцьки! — додавъ винъ, пидіймаючысь.

Ласа вечера та щыра выпывочка розъвязалы языка моему прыятелеви и видкрылы його сердечный тайныкъ. Зразу винъ выявывъ мени свое натуральнйше розуминня симейного и политычного жыття людны, и загалного значиння, якъ прекрасного й розум-

ного твориння, и якъ винъ може бути ни видъ кого незалежнимъ и щасливимъ въ своимъ короткимъ жити, ажъ ни трохи не порушаючы гармоніи въ громади истоть, на неи саму схожихъ. Такъ винъ мене прывабывъ своими думками, що я вже вбачавъ його найнатуральнійшимъ и справжнійшимъ мудрецемъ, трохи не выше за самого Сократа; але коли мудрецеви, та й взагали людяни, трудно, та мовъ бы й зовсимъ не вильно самому соби уявити между, за яку не слидъ перестунаты, то й мій прятель непримитно перейшовъ до утопіи та й ставъ мени доводиыты, що грамота, тымъ паче въ жиоцтви, дуже капостыть людському добробутову. Я зразу було думавъ, що початокъ такыхъ идей—выно та добра доза сльвянки, покы винъ не скинчывъ своихъ доводиыты сымы словами:

— Маю надію, та й не безъ прычины, що я буду ажъ надто щасливимъ зъ своею жинкою,—и тымъ саме, що вона неграмотна.

— Ты може й будешъ, але багацько про кого сього не можна сказаты, и про себе першого я не скажу сього.

— Тымъ, що багато де-хто, а зъ ными вкупи и ты, билышь не що, якъ моральни каликы.

— Отъ тоби й на!—подумавъ я; помовчавшы й кажу:

— Яко твій старшый боярынъ, чы я маю право спытаты свого князя, хто така та, що мае бути щасливою княгынею?

— Секретъ! До останнього дня секретъ, а то ты ще, гляды, станешъ мене розчаровуваты.

Довго мы мовчки сѣдили за столомъ, позыраючи зридка одинъ на одного та на пляшку зъ сливянкою; а дали, якъ побачылы, що на сухимъ денци въ плящи нема ничего, вартого увагы, пиднялысь зъ-за стола та й пишы спаты, выразно стыснувшы одинъ другому руку.

Весь тыждень мы зъ приятелемъ закусовали, снидали, обидали, вечерялы й спали, багато балакали про всяки чысто звычайни речи, въ гурти й про тогочасню литературу, за якою винъ, якъ и всяка путяща людьна, досыть уважно стеживъ, що мене добре здывувало, бо я, опричь варварського перекладу Федровыхъ байокъ, ни-же йedyной кныжечкы не примитывъ у його въ хати. Опричь тогочасньої литературы, часто заходьла у насъ розмова про дуже хытру тогочасню Меттернихову политьку, а про весилля, що мало буты, ни пары зъ усть. Я разъ бувъ, хочъ и проты учтывосты, запнувся про сю цикаву ричъ, але приятель мій бувъ нимый, немовъ рыба, звеливъ запрягты брычку, не сказавшы мени й „до зобачення“, сивъ та й пойхавъ—Богъ його знае, куды. Нарешти мынула безконечна для мене свята неделя, мынула й половина провидной. Въ середу приятель мій пойихавъ зъ-райку й пропадавъ до самого вечора; вернувшысь въ-вечери додому, винъ мовчки надивъ фрака, росчесався, подывився въ зеркало, повернувся до мене та й каже:

— Ну, я готовъ! Одягайся скорійшъ, та пойидемъ!

Я тежъ убрався. Силы мы въ брычку та й пойихалы до миста до мыколаивської церкви. Церква вся

свитыться. Середъ церкви аналой. Пипъ въ рязахъ; а дячокъ, прыглажуючы вуса, трохы—трохы не спивавъ: „Исаіе, ликуй!“ Не встыгъ я роздывытысь,—якъ одчынылысь двери, и зъ Туманомъ та зъ матирью ввійшла Оленка. Ввійшла въ церкву, перекрестылася, смилыво пидійшла до аналая й стала на свое мисце. Якъ побачывъ я їи блыжче, такъ тилькы ахнувъ.

Винчання скинчылось, а я безъ заздлости поздоровывъ свого щаслывого прытеля зъ новымъ жыт-
тямъ, зъ новымы радощама, а другого дня, подякував-
шы за хлибъ та силь, пойихавъ до Кыва.

Музыка.

Коли вы, ласкавий чытачу, кохаетесь у ридній старовини, дакъ пораджу вамъ, коли переиздытмете черезъ мисто Прылуку въ Полтавщини, зупынитесь тамъ на добу. А якъ що трапыться се не въ-осены й не зимою, дакъ перебудьте тамъ и дви доби та першъ за все спизнайтесь зъ пан-отцемъ протопопомъ Иллею Бодяньськимъ, а вдруге навидайтесь зъ нымъ же такы, зъ пан-отцемъ Иллею, до на-пивъ зруйнованого Густынського монастыря. Винъ по той бикъ ричкы Удаю верстовъ за тры видъ Прылуки. Можна васъ запевныты, що не каятметесь. Се суше Сенклерське абатство. Усе тутъ йе: и ривъ глубокий та шырокий, колысь то повный воды зъ тыхого Удаю, и валъ; а на валу на тому йе высокый камъяный муръ зубчастый изъ вну-тришними ходамы та зъ бйныцями; йе й склепы чы пещеры, що нема имъ краю, йе й намогыльни плиты, що вже повросталы въ землю, помижъ вельчезными дубамы суховерхымы, може, ще самымъ тытаремъ насадженымы. Одно слово, усе йе, чого треба, щобъ була повна картина романична, звисно, пидъ перомъ такого жъ Скотта Вальтера, або похожего на його автора-маляра прыроды. Я жъ... зъ убожества моеи фантазиі

(по правди кажучы) за таке дило не беруся, та—признатись—не до того я й бесиду веду. Се я тилькы такъ, абы бесида повнища була, забалакавъ про руины памятныка Самойловычового.

Мени, щобъ вы знали, кыивська Археологична Комисія припоручыла навидатись до сього на-пивъ зруйнованого манастыря. Вже жъ пакъ за запомогою найповажаного пан-отця Илли, довидався я, що манастырь збудовано коштомъ и працею безталанного гетьмана Самойловыча р. 1674, про що свидчыть патреть його, яко тытаря, намальований на стини въ середыни головной церкви.

Довидавшысь про все отсе та змальовавши, якъ умивъ, головну чы святу браму та церкву Петра и Павла зъ п'ятьома банями, та ще трапезу й церкву, де поховано викопомного князя Мыколу Репнина, та ще зацилилу циклопичну будивлю братерську, отсе все зробывшы, кажу, якъ умивъ, другого дня хотивъ бувъ я покынуты мисто Прылуку й рушыты до Лубенъ, щобъ и тамъ подывытыся на манастырь, збудований побожною матирью Яремы Вышневецького Корыбута. Я вже поскладавъ бувъ усю свою мизерію у пакунокъ и хотивъ послаты фактора Лейбу на почтову станцію по коней, ажъ ось мій господарь до мене въ свитлицю увиходыть та й каже:

— И не думайте й не гадайте! Ось гляньте лышень, що на двори діється.

Я подывывся у викно. Справди, вздовжъ грязькой вулыци тяглося дви кареты, на чотыры особы кожна,

де-килька колясокъ, брычокъ, фургонивъ усякыхъ, на-
решти прости возы.

— Що се таке?—спытавъ я свого господаря.

— Бачте: одынъ зъ нащадкивъ славетного прылуць-
кого полковника, Мазепыного сучасныка, завтра йме-
нынныкъ.

Господарь мій, треба завважаты, бувъ за повито-
вого вчытеля російської исторіи и любивъ выхваля-
тыя своїмы знаннямы, особлыво передъ нашимъ бра-
томъ-ученымъ.

— Та невже жъ отсей транспортъ тягнеться до
йменынныка?

— Авже-жъ! та се ще тилькы початокъ! Ось по-
дывтысь, що буде надъ вечирь: на мисти буде тисно!

— Гараздъ! Та мени жъ яке дило до вашого йме-
нынныка?

— А таке дило, що мы зъ вами найmemo троякъ
добрыхъ коней та й рушымо у-досвита ажъ у Д...

— У яки се Д...?

— Та просто жъ до йменынныка.

— Але-жъ я зъ нымъ не знайомый!

— Дакъ познайомытесь!...

Я замыслывся. А що справди: чы не чкурнуть бы
мени та по праву росшукувача давныны полюбуваты зъ
сильськихъ забавокъ? Се буде щось нове!

Добре! Отъ на другый лень мы й пойихалы въ
гости.

Початы хиба зъ того, що мы зблудылы не черезъ те,
що, колы мы выйихалы зъ миста, дакъ було ще темно,

а черезъ те, що нашъ фурманъ (справжній мій землякъ), перейхавшы удайську греблю, пустывъ вижки та й почавъ собі про щось миркувати. Тымъ часомъ кони вишли собі любенько бытымъ шляхомъ, звичайно по старій пам'яті. Отъ мы й прийихали въ село И...
 Питаемо першого стричного чоловіка, якъ пройхаты намъ у Д...?

— Д...?—каже той чоловікъ.—А просто берить на Прылуку!

— Якъ то, на Прылуку? Мы жъ йдемо зъ Прылуки!

— Дакъ не треба було вамъ и йиздыты у Прылуку,—видповивъ чоловікъ зовсимъ байдужо.

— Та якъ-же намъ теперъ пройхаты у Д..., щобъ не вертатыся въ Прылуку, га?—спытавъ я.

— Тривайте! Десь отутъ недалечко йе село Ср..., тежъ нашадка славетнього полковника. Чы не знае винъ часомъ сього села?

— А С..., земляче, знаешъ?—спытавъ я селянына.

— Знаю,—видповивъ той.

— А Д... видъ С... далеко?

— Ба ни!

— Дакъ покажы намъ шляхъ на С..., а тамъ уже мы якось знайдемо й Д...

— Ходимъ за мною,—промовивъ чоловікъ та й пишовъ вздовжъ вулицы попередъ нашої завзятои тройки.

Винъ повивъ насъ повзъ стару дерев'яну церкву зъ однію банею та рубленою дзвинницею на чотыри вуглы. Дывлячысь на неи, згадавъ я картину того не-

забутнього Штернберга „Свячення пасокъ“, и мени стало сумно. Имя Штернберга дуже-дуже багато нагадало мени.

— Отсе вамъ буде шляхъ просто на С...,—мовивъ чоловікъ та й показавъ рукою на ледве примитну дорижку, що блищала по-мижъ густою зеленою пшеницею.

Вельмы цікаво, що пидвидчыкъ нашъ мовчавъ увесь часъ подорожи видъ Прылуки до И... й розмовы зъ селяныномъ, та вже побачывшы по-за темною смугою лису укриту бляхою баню, тилькы й промовивъ: „Отсе вамъ и С...!“—Та й зновъ замовкъ.

Се загальна рыса вдачи моихъ землякивъ. Землякъ мій, колы що й до ладу зробить, дакъ не розбалакається про свое завзяття; колы жъ, боронь Боже, вскочыть у гушчу, дакъ стане дійсне наче рыба та.

У С... мы роспыталы шляхъ на Д... та й пойихалы соби зъ Богомъ мижъ зеленымы пшеницями та жытамы.

Здається, моему товаришеви не зовсимъ до вподобы була така подорожъ, особлыво черезъ те, що винъ любивъ чепуритысь (и треба вамъ знаты, що мы булы убрани зовсимъ якъ на балъ). Винъ тежъ мовчавъ, якъ и пидвидчыкъ, навить не промовивъ: „Отъ вамъ и С...,“ такъ винъ бувъ роздратований курявою та иншымы прыгодамы подорожи. Я-жъ, не вважаючы на фракъ та инши прычандалы, бувъ зовсимъ спокійнымъ, навить шаслывымъ, дывлячысь на необсяжний обшыръ пидъ жытамы та пидъ пшеницями.

Нигде правды диты: й до мене зализла въ серце туга; але жъ ся туга зовсимъ иншого роду. Я думавъ и пытався у Бога: „Господы, про кого се поле засіяно й зеленіє?“

Хотивъ бувъ по-переду переказаты свое сумне питання товаришеви, та роздумавшы, не сказавъ ничего. Якъ бы не се кляте питання, що такъ не до гычи прокынулося въ мой души, я бь бувъ зовсимъ щасливымъ, купаючысь, такъ сказаты, у мори свижою рослынности, що такъ тыхо-тыхо хвылювалася. Чымъ бльжче пидйиздылы мы до того бенкету, тымъ сумнійшъ и сумнійшъ ставало мени, такъ, шо я ладенъ бувъ повернуты, мовлявъ, назадъ оглобли. Дывлячысь на обшарпаныхъ селянъ, шо часто-густо попадались намъ на-зустрічъ, мени здавався сей бенкетъ якымысь нелюдськымы веселощамы...

Чы такъ, чы сякъ, а нарешти, вже передъ заходомъ сонця, допленталысь мы до своей меты.

Не спысуватыму вамъ чудового гаю зъ велетнямы—дубамы, насадженымы ще прадидамы, освиченого косымъ проминнямъ соняшнымъ; не пысатыму й про бельведеръ зъ банею вельчезною панського будынку, шо высоко пидносыться середъ того гаю; промовчу й про шыроку та вельчню алею, шо веде до будынку; мовчатыму й про вельчезне село, шо було заставлене повозамы, киньмы, слугамы та кучерамы. Не пысатыму про все оте черезъ те, шо саме передъ нашимъ вйиздомъ въ алею стрила насъ кавалькада амазонокъ та амазо-

нивъ безъ кинця-краю й зовсимъ збыла мене зъ пан-
тельку ...

Товарышъ мій не злякався: винъ жваво выско-
чывъ зъ воза и хвацько почавъ кланяться до всіей
кавалькады... Я зъ сього вывивъ, що винъ вдатный
жартунъ. Мынувшы амазонокъ, амазонивъ та, нарешти,
грумивъ чы жокеивъ, я тежъ вылизъ зъ воза, запла-
тивъ нашому пидвидчыкови и, на його питання: „де-жъ
я ночуватиму?“ видповивъ: „въ зеленій диброви, зем-
ляче!“—а винъ тоди посвыставъ та й подався на село.
Мы помалу пишли вповоджъ величньої алеи до пан-
ського будынку. А щобъ надаты своїй твари выдъ, хочъ
трошки похожий на джентельменський, зайшли мы
до такъ званого „холостого флигелю“, що стоявъ на
видшыби недалекѣ біля головної будивли. Тутъ стри-
лы насъ джентельмены зовсимъ незвычайного змисту.
Звычайно буває, що люде, писля довгого обиду та
добрячої выпывкы, швиденько чымчыкують спаты; у
ихъ же все вышло навпаки. Вони стрыбалы, галасу-
валы и вытворялы ка-зна-що, звисно, уси въ шот-
ляндському убранню. Цинизмъ, щобъ не сказаты, гы-
дота, та й бильшь ничего! Вергилій мій якось добувъ
умывальныкъ та мыску, и мы, повмывавшысь та пови-
трушувавшы зъ фракивъ куряву, рушылы въ садъ,
сподиваючысь зистринуты господаривъ.

Надія не одурыла насъ. Попереду мы увійшылы въ
будынокъ; перейшовшы дви залы, опынылыся на тераси,
що вся була заставлена найроскишнишымы квиткамы.
Зійшовшы зъ терасы та перейшовшы старанно прысы-

паною пискомъ стежкою черезъ зеленый майданъ (що звався задля патріотизму левадою), увійшли мы въ садъ. На-вдвожу мени, то бувъ не британський або французський садъ, а звичайний дубовый гай чы диброва. Коли бъ не блищали жовти стежечкы поміжъ старымы темнымы дубамы, дакъ я-бъ зовсимъ забуду, що пробуваю въ панському саду, а не въ якійсь заповитній диброви. Вергилій мій повивъ мене до високого розлогого дуба вельчезного и показавъ мени на його стовбури невелику щилыну, наче малесеньке виконечко, промовывшы: „Ось погляньте лышень въ отсе виконце“. Я подывывся и, вже-жъ, ничего не побачывъ. „Та прыдывитесь пыльнійшъ!“ Я подывывся пыльнійшъ и побачывъ неначе образъ Пресвятои Матери. Се й справди бувъ образъ Иржавецькои Божои Матери (такъ мени казавъ мій Вергилій). Образъ той бувъ вдовбанный въ сього дуба, черезъ рикъ пилса полтавської баталіи, славетнымъ прылуцькымъ полковныкомъ.

Слухаючы поясненя отсіеи подіи исторычної, я й не спостеригъ, якъ мы зновъ выйшли на леваду, де й стрилы господаря та господиню. Навкругы ихъ була щила юрба гостей, що прыязно осмихалысь.

Вергилій мій довели хвацько, якъ на повитового вчытеля, вклонывся господарю, а господаръ ласкаво простягъ до його одну пучку лившы, що була оздоблена коштовнымъ перстенемъ. Вергилій мій лебезуючы ухопывъ тую пучку обиручъ и рекомендувавъ мене, яко свого друга и вченого побратыма. Я й соби вклонывся тежъ, по правди кажучы, довели по-вченому, се-бъ

то, по ведмедячому, після чого юрба гостей побільшала двома намы.

Не описуватиму вамъ а-ни господини, а-ни господаря, бо пидъ часъ нашої авдіенціи на двори було майже темно, черезъ те й неможливо було роздивитись подробици. Адже якъ-бы прехороше ни була намальована картина взагали, та колы маляръ зневажавъ подробици, дакъ картина його буде тилькы эскизомъ, и справдешній мастакъ та знавець подивыться та й покыва тилькы головою, та й видїде зитхаючы до патретивъ Зорянки чаруватыся гербами, що зъ убійными подробицями намальовани на гудзыкахъ якогось тамъ виць-мундира.

Абы втикты „помаванія главы“ мастака та знавця скинченихъ картинъ, обмежуся я тилькы першымъ вражиннямъ, що йе, на думку психологивъ, найважливїйша рыса до обмальовання вдачи.

Перше вражиння, яке зробыла на мене господиня, було найпрямнїйше вражиння, а господарь—навпаки. Та се може пучка ливши, такъ ласково простягнена до мого прятеля, спрычынылася непрямному вражинню. Веселый натовпъ гостей повагомъ рушавъ до будынку, що вже бувъ пышно освиченый въ середыни, а на тераси мижъ роскошными квитками та цытрыновыми деревами ще тилькы розвишувано рижнобарвнїи лихтарыкы.

Скоро господарь зъ господинею ступылы на терасу, колы се оркестра крепакивъ гримнула славутий маршъ зъ „Вильгельма Теля“. Після маршу, не

переводячы духу, заразь польонезь,—и баль почався у всьому велыччи.

Якыйсь ученыи мужъ, здається баронъ Боде, поийхавъ зъ Тегерану до руинъ Персеполису й досыть докладно описавъ свою подорожъ ажъ до самисинькой долины Мардамтъ; побачывши жъ велычни руины Персеполису, промовывъ: „Багато мандривцивъ спысувало сии славутнии руины, черезъ те мени тутъ нема чого робыты“. Тежъ можу сказаты и я, дывлячысь на провинцияльный баль, хочъ моя подорожъ не мала на мети описання провинцияльного балю й не була сполучена зъ такымы труднотамы, якъ ота подорожъ зъ Тегерану до руинъ Персеполису; та й поривнанна, по правди кажучы, роблю я зовсимъ найзвычайне; але... що маю діяты: що пидъ руку пиймалося, те й смалы!

Перечытайте любу повистъ сучаснои російськой белетрыстыкы,—усюды стринете вы описання, якъ не столычного, то вже доконечне провинцияльного балю и, певна ричъ, зъ рижнымы додаткамы, що до вбрання та маниръ и навить самыхъ физиономий, наче натура на провинцияльныхъ львивъ та львыць особлыви формы робыла. Дурныця! формы ти-жъ самисиньки, и колы вже йе мижъ нымы рижныця, дакъ сетилькы тая, що провинцияльни львы та львыци, нема що и казаты, ручнийши видъ столычныхъ. Сього, скильки мени видомо, спысувачи провинцияльныхъ баливъ не спостерегли. Значыть, спысано вси бали, почынаючы видъ балю на „Фрегати Надежда“ до російськой „пирушки“ на немецкый зразокъ, де уст-

сысольськи „ребята“ трошки попустували. И що до провінціального балу, я можу сказати смилливо, що мени цілкомъ ничого робити, хіба тильки любовати зъ свижихъ, здоровыхъ личеньокъ провінціальныхъ красунь.

Одно мене трохи здивувало на сьому бали: саме те, що не видно було а-ни одного мундиру, не дивлячысь на те, що въ прылуцькому повити стоявъ стрілецький батальонъ.

Не розуміючи сієї прычыны, звернувся я до свого Вергілія; Вергілій мій саме тієї хвилі вироблявъ въ кадрыли „па“ найклясычнійшымъ робомъ. Терпляче дождавъ я кінця останньої фігуры кадрыля, а тымъ часомъ розгадувавъ се питання рижными вгадкамы. „Може,—миркувавъ я,—вони тее?...“ Але жъ ни, ся ричь належить більшь гусарынамъ и взагали кавалеріи,—вони жъ пихота, та ще й зъ ученымъ кантомъ.

Ни, тутъ щось та не тее...

Сієї хвилыны кадрыль скинчывся; спотилый мій Вергілій підійшовъ до мене:

— А що, якъ вытанцьовуемъ? — промовивъ винь утыраючысь.

— Ничого, добре,—видповивъ я.

— А отъ що,—промовивъ я до його майже нышкомъ:—Чому се на бали нема військовихъ?

— Та ихъ нигде не прыймають, тымъ паче у такій господи, якъ господа нашого Амфитріона.

„Чудно“, подумавъ я и, подумавшы, спытавъ:

— А панночки, ничого?

— Зовсимъ ничего.

Саме тоди заграли вальса, и менторъ завертываясь зъ якоюсь ваблывою брюнеткою. А я, пропхавшысь помижъ глядячамы, се-бъ-то слугамы, що стоялы юрбою билия росчыненыхъ дверей, выйшовъ на терасу та й думавъ про те, якъ

„Мы подвигаемся замѣтно“...

Баль завершено найроскишнишою вечерю, и не покрупнылы ии, не запылы, а дѣйсне залылы шампанськымъ усихъ назвыщъ. Мене ажъ вжахнула така пыха.

По вечери Амфитріонъ запросывъ до „грось-фатера“, що й прынялы гости зъ превелькою радистю. „Грось-фатеръ“ почався й длявся зъ сильською простотою ажъ до схидъ сонця.

Красуни, особльво красуни на манирь героинь небижчыка Бальзака, се-бъ-то красуни не першои свижости, не раджу васъ танцюваты до схидъ сонця! Влада, яку маете вы надъ нашимъ биднымъ серцемъ пры сяеви свичокъ, зныкае пры сяеви сонця, и ваблывисть, що навивае вы за часъ ночи, заминається якимсь гирко-непрязнымъ чуттямъ, похожымъ на пересытъ. Але вы, роздратовани зажерльвистю глытаты наши бидни серця, не спостерегае вы, якъ наблыжається день—и ваше могутне панування зныкае, наче той прозорый туманъ, що розстеляється надъ болотомъ.

Такъ миркувавъ я, лышаючи веселый, простый „грось-фатеръ“ и продыраючысь помижъ дубамы до нашего табору (гости малы помешкання не въ будын-

кахъ; кинець саду напыналось де-килька шатривъ, що й значыло табирь, або краще—цыганський табирь). Наблыжаючысь до шатривъ, що вылыскувались на темній трави, почувъ я, на превельке дыво, въ одному шатри писни й регить. То були друзьякы-чаркуны, що проминялы свитову суету на самитнисть, не скажешъ, повну вже самитнисть. Якось пропхався я до свого шатра, переминивъ, на швыдку руку, фракъ на блузу та й сховався въ куцахъ лищыны. Я не знавъ, що сумежно зъ садомъ бувъ ставокъ, то мени здалось чуднымъ, колы густе темне гилля лищыны почало вызначатыся на билому полю. Выйшовъ я на поляну й побачывъ озеро у всій його краси; зъ берегивъ посхылялысь до його стари бересты та мальовнычи вербы. Чудова картина! Вода не колыхнетъся,—суше дзеркало, и вербы красуни нибы попидходылы до його купкамы налюбыватыся зъ свого роскишного шырокого гилля. Довго стоявъ я на одному мисци, прычарованый сією дывною картоною. Мени здавалося грихомъ зрушыты хочъ малесенькымъ рухомъ сю урочысту тышу святои красавци-прыроды.

Помиркувавши, я зважывся на сей грихъ. Мени прыйшло на думку, що не погано було-бъ впирнуты разивъ зо два або зо тры у сьому чаривному озеры. Заразь я се й зробывъ. Писля купання мени стало такъ лехко та радисно, що я двичи почувъ красу пейзажу й наважывся рауваты зъ його до-схочу! За-для сього сивъ я пидъ розлогымъ берестомъ та й видався солодкому оглядуванню чаривной прыроды.

Не довго діялось одначе мое оглядування. Я притулювся до береста та й заснув супокійно. И прыснулася мени та-жъ такы радисна картына, зъ додаткомъ балю, и тилькы чудно—замість звичайного вальса, ввыжався мени видомый малюнокъ Гольбайна: „Танокъ смерти“.

Выдиння мои були порвани голоснымъ жиномъ регетомъ. Росплющывшы очи, побачывъ я жваву зграю нимфъ, що хлюпалыся й цокотили въ води, и менп, радъ-не-радъ, довелося граты ролю цикавого Антіона—пастуха. Я одначе незабаромъ опамъятався й сховався въ кущахъ лищыны.

О одинадцятій годыни ранку дзвономъ оповистылы нежонатыхъ гостей, що чай готовый (жонати гости втишалыся нымъ по своихъ нумерахъ). На сей радисный благовистъ гости сыпнули зъ своихъ самотныхъ прытулкивъ до пышнои терасы, що була оздоблена столами зъ чайнымы прыборами й килькома пузатымы самоварами та кофейныцями. Не встыгъ я скинчыты другу чашку ясно-брудастого сыропу зъ вершкамы (сметанкою), колы се гримнувъ вальсъ, и кризь видчынени двери побачывъ я килькы паръ, що вертильсь по зали. „Ну й колы вони накрутяться?“ подумавъ я и, сходячы зъ терасы, стривъ свого Просперо; винъ сказавъ мени ныщечкомъ, що сьогодняшній вечиръ почнеться концертомъ; сьому зрадивъ я не мало, хочъ, по правди кажучы, багато й не сподивався я видъ того. Одначе я помылвся.

Небавомъ пился вечерньої прогулки гости зибралися, хто въ чимъ попало, се-бъ-то хто въ сиртуци, хто въ пальти; а хто трымався «гарного тону» або корчывъ зъ себе англмана, ти прыйшли у фракахъ; про вбрання-жъ жиноцтва нема шо й казаты: се вже цилый всесвить видае, шо ни одна жинка, яка-бъ красуня вона ни була, не задумається разивъ зъ двадцять на день переминыты свое убрання, колы мае на думци зустринуты юрбу, хочъ навить выродивъ, абы не своєї породы. Прощу не гниватыся, мои люби чытателькы,—се не йе выгадка, а певный фактъ.

Гости зибралися й посадалы, певна ричъ, зъ деякымъ розборомъ: шо бильше, высунулось на-передъ, а дрибнота, у тому чысли й мы (Господы, покрый насть!) примостылась по кіоскахъ у темряви, помижъ колоннамы. Скоро все впорядкувалось; зъявився на пидмосткахъ, на манирь кону, вильновидпущенный капельмейстеръ, досыть грубый въ постати й зъ самою лакейською пыкою.

— Ученыкъ славетного Шпора!—шепнувъ хтось била мене.

Ще мыть,—и гримнула „Буря“ Мендельсона, по правди казаты, гримнула й гремила досыть гарно. Мене не на-жартъ зачепыла віолончеля. Віолончелисть сыдивъ бльжче иншыхъ музыкывъ до авансены, неначе на показъ (шо дійсно й було такъ). Се була молода людына, блида та сухорлява,—усе, шо я мигъ побачыты зъ по-за віолончели. Соля свои винъ справывъ зъ

такимъ чуттямъ та мистецтвомъ, що хочъ-бы й самому Серве, дакъ не соромъ. Мене здывувало одно—чомъ йому нема оплескивъ. Почынаты-жъ самому мени—не лычыло. Який зъ мене суддя, та й що за гисть зъ мене? Богъ знае що, Бо' знае й видкиль. Ш о скажуть гости першого розбору!

Тымъ часомъ „Буря“ скинчылась, и я почувъ промовлену въ пивъ-голосу хвалу артыстови: „отъ такъ Тарась! Отъ такъ молодець! Не дурно побувавъ ажъ въ Италиі!“

Поки оркестра ладналася, встыгъ я довидатися видъ сусидъ де-що про цикавого мени артыста. Почалася увертюра зъ „Преціозы“ Вебера, и я, на-вдывовыжу, побачывъ віолончелиста зъ скрипкою въ рукахъ, майже рядомъ зъ капельмейстеромъ, и теперъ можна було його краще роздивитися.

Се була молода людына трохи більшь двадцяти рокивъ, струнка та граціозна, зъ чорными живыми очыма, зъ тонкымы губамы, що ледве осмихалыся, зъ высокымъ блидымъ чоломъ,—одно слово, се бувъ джентельменъ першої породы и, треба додаты, найсымпатичнійшой породы.

Колы винъ скинчывъ арію „Преціозы“, я не втерпивъ,—закрычавъ „браво!“ и, що-сылы було, ставъ плескаты въ долони. Все подывылыся на мене, певна ричъ, наче на божевильного. Проте-жъ я не злякався и все ляскавъ та крычавъ „браво!“ поки нарешти волови очи самого господаря не примусылы мене схаменутися.

Оркестра зновъ ладналася, та я, не сподиваючыся почуты шось кращого, выйшовъ изъ залы въ садъ. Ты-ха та спокійна була мисячна ничь. Вештався я билиа будынку недалеко, и до мене долиталы зъ хаосу згукивъ чудови згукы віолончели або скрипки. Постать смутного артыста, зъ його мелянхолійною усмишкою, носылася, нибы жыва, передо мною. Де я бачывъ його? де я його зустрічавъ?—пытавъ я самъ себе и, пилія довгого напруженія пам'яты, згадавъ я, що бачывъ його пидъ годыну обидню за стильцемъ самого господяря зъ рукою, що була обгорнена серветкою.

Трохы не зомливъ я зъ такого видкрытя.

Музыка затыхла, и я пишовъ стежкою черезъ леваду до старосвицькыхъ таемныхъ дубивъ. Трохы пройшовшы, почувъ я за собою тыхий шелестъ ступнивь; озырнувшысь пизнавъ я віолончелиста, що слидкувавъ за мною. Я звернувся бувъ до його зъ питаннямъ, але винъ попередивъ мене, ухопивъ мои руки и прытьсь ихъ изъ слизьмы на очахъ до своихъ губъ.

— Що се вы? що вы? що зъ вами скоилося?—пытавъ я його, сылкуючыся вызволты руки.

— Дякую вамъ, дякую!—казавъ винъ нышкомъ.—Вы, вы одна, йедына людына, що слухала мене й розумила мене.

Сльозы не дали йому говорыты дали. Я мовчкы узявъ його пидъ плече й довивъ до лавкы зъ дерну, що була змайстрована навкругы викового дуба розлогого.

Довго сьдили мы мовчкы, нарешти винъ промовивъ:

— Вы дуже до мене ласкави!

Въ сю мыть роздався голось, що гукавъ на його.

— Идить до винограднои альтанки, — промовывъ винь, устаючи.—Сіеи жъ мыти я прыйду до васъ.

И винь швыдко виддалывся.

Дывлячысь у-слидъ його, я думавъ: ось натхнен-
ный минезингеръ XII вику! Одначе-якъ недалеко одій-
шы мы видъ благородныхъ лыцаривъ, розбишакъ то-
го плачлывого часу! А просвита йде соби упередъ шы-
рокумы ступнямы....

Я пидвився зъ лавкы й пишовъ стежкою, що ве-
ла до винограднои альтанки. Не скажу черезъ що, але
я не сподивався почуты видъ нього його безрадисне
оповидання, якъ се звычайно бува, и, дяка Богови, не зов-
симъ помыльвся. Правда, винь передо мною высловывся
бильшь, ніжъ самъ хотивъ; але-жъ мова, якою заго-
ворывъ винь зо мною, була не наша звычайна бидна
мова, ни, то булы божественни згукы: въ ихъ лунавъ
стогинъ змученого сердца непорочного.

Винь прыйшовъ до мене въ альтанку зъ басомъ
и, не промовывшы слова, почавъ ладнаты струмента;
пробуючы, нибы жартуючы, програвъ винь славутню
каватину зъ „Нормы“. Духъ мени забыло пры сихъ
згукыхъ. Не видводячы смычка видъ струнъ, загравъ
винь одну зъ сердешныхъ мазурокъ натхненного Шо-
пена. Скинчывшы мазурку, винь ледве выразно промо-
вывъ: «Отъ у насъ и свій баль». Програвъ винь ще
де-кількы мазурокъ, одну крашу за другу, одну сердеч-
нійшу за другу.

На самимъ кинци останньої мазурки примитивъ я кризь виноградне лыстя мовчазни твари багатьохъ слухачивъ: то булы все слугы прыйизжыхъ панивъ. Вони покыдали викна, кризь яки дывылыся на немецкы танци вымуштрованныхъ панивъ та паніивъ своихъ, и прыйшли послухаты, якъ грае Тарась.

Орфей мій, трошки спочывшы та наладнавшы свою лиру, повагомъ повивъ смычкомъ по струнахъ— и полылася повная сердешного смутку солодкого моя ридна мельодія на слова:

Котылыся возы зъ горы,
Та въ долини стали.

Програвшы тему, винъ варіювавъ її на тысячу ладивъ, та такъ варіювавъ, що я зроду ничего похожего не чувъ, та, здається, й не чутыму никола. Слухачи, шо стоялы коло альтанкы, за цилый часть гры не ворухнулись и, колы винъ скинчывъ свои чудовни варіяції, слухачи ще довго слухалы, не переводячы духу, нарешти разомъ зитхнули та й зновъ замовкы.

Я мовчки взявъ його за руки й давъ ознаку вийты зъ альтанкы. Мы вийшы й довго мовчки ходылы по дорижци, наче боялыся забалакаты. Нарешти я перемигъ себе й поспытавъ:

- Де вы вчылыся?
- Зъ-початку дома.
- А потимъ?

— А потимъ панъ зъ панією йиздылы заграницю й мене зъ собою бралы, и, покы вони жылы въ Берлыни,

ходывъ я килькы разивъ до Шпора й бильшъ нигде не вчывся.

— Адже Шпоръ грае на скрипци?

— Я й учывся въ його на скрипци: скрипка йе мій справжній струментъ, а віолончеля—се вже такъ.

— Що жъ вы масте теперь изъ собою діяты? Выжъ справжній великый артысть.

— А що мени зъ собою діяты? На шыбеныцю—бильшъ ничего.

Казаты по правди, я й самъ не спроможенъ бувъ вищуваты йому щось крашого.

— Торикъ у-литку,—забалакавъ винъ,—прийиздывъ до насъ зъ Качанивки Глинка, слухавъ мою гру на скрипци та віолончели, хвалывъ мене та просывъ пана, щобъ той выпустывъ мене на волю. Вони обищали йому, та на тому, здається, й скинчилось.

— Не сумуйте, молитесь Богови! Дастъ Богъ, все буде гоже...

— Я не сумую. Михайло Ивановычъ, здається, такой добрый; на його можна сподиватыся.

— Справди можна, колы винъ тилькы не забудъ про васъ. Напышитъ вы до його лыста.

— Напысаты лышень—я напышу, та якъ же я зашлю його, колы я адресы не знаю?

— Я знаю, й вы дайте лыста мсни. Напышитъ лыста сьогондя, а завтра я буду на мисти й подамъ його на почту.

Мы саме пидійшли до альтанкы, й винъ поспытавъ мене, схыльшысь до віолончели:

— Чы не заграты вамъ ще чого?

— Дуже вдячний. Вы втомылися, спочыньте трохи й прыготуйте лыста на завтра.

И мы розійшыся.

Писля вечери, (вже передъ сходомъ сонця), роскланявшыся зъ господарямы, я, не заходячы до табору, помандрувавъ на село наняты коня та воза, щобъ дойхаты до миста, або хочъ до почтовой станціи. Ова! На цилому велычезному сели не надыбавъ я ни конякы, ни воза. Нема чого казаты, заможни селяне! Пьяныци, я певенъ, та линьтяюгы переважно; а то якъ бы такы не знайты хочъ одніей конякы зъ возомъ! Дывовыж-ный наридъ—наши селяне! Не налякай його, дакъ ничего й не буде! Отже-жъ васъ, мабуть, занадто налякано,—подумавъ я, дывлячысь на оголиле село.

Нема чого робыты, звернувся я до жыда—шын-каря й нанявъ у його, звисно, за жыдивську цину, шкапу на п'ять верстовъ до якоисъ „фермы“. А тамъ, запевнявъ мене жыдъ, хочъ четверню можно наняты до самои Прылуку.

За запомогою ввичлывого Тараса Федоровыча (віолончелиста) упакували мы абыякъ свою мизерію та й выйхалы зъ села на прылуцькый шляхъ.

— Скажыть, будь ласка, що воно за „ферма“, до якои вынь теперъ насъ веде?—спытавъ я свого напывсонного ментора.

— Ферма,—се хутирь Антона Карловыча. Чудесни люде, се-бъ-то, вынь та Маріяна Якымивна! Чудесни

люде! Зайидьмо, конче зайидьмо. Я вже давненько ихъ не бачывъ.

— Добре, зайидемо. Мени вже теперь за одно гуляты, ажъ покъ не выберуся на почтовый шляхъ.

— Не жалкуватимете. Антинъ Карловычъ—прецикава людына... Винъ, бачте бо, почавъ и скинчывъ свою службу за ликаря на флоти, разивъ зо-два подорожувавъ кругъ свита, покинувъ службу та й одержуе соби повну пенсію. Та теперь прыватно ликарюе въ нашего Амфитріона; сей же подарувавъ йому, яко додатокъ, ще й хутирь. Чого-жъ ище? Жывы та Бога хвалы.

— А давно вже винъ тутъ живе?

— Та, мабуть, буде трохи бильшь, якъ десять рокивъ.

— А що, вони мають симью?

— Ни, тилькы вдвохъ. Правда, пидъ ихъ непосреднымъ доглядомъ виховуються дви донькы дидыча—гарненьки диты—и вони, можна сказаты, стали имъ за ридныхъ дитей. Одній, мабуть, буде вже рокивъ изъ шисть, а друга на рикъ молодша.

— Чомъ же се ихъ не выдно було на балю? Адже-жъ, я певень, вони качучу танцюють. А сами гараздъ знаєте, яка се оздоба балю.

— Ни, я певень, що вони не танцюють качучы, и, розуміете, маты хоче виховаты ихъ у дійсній самоти, а потимъ выпустыты на свить зовсимъ невыннихъ, не-наче двохъ пташенятъ зпидъ крыльця. Мени, знаєте,

ся идея вельмы подобається, морально-філософична и, можна сказати, поэтычна идея. А на вашу думку якъ?

— Справди, поэтычна идея, та ніякъ не бильшь. Я й не гадавъ, одначе, щобъ у Софіи Самійливноу были диты. Вона ще така свижа!...

— Та прекрасна, додайте!

— Справди, прекрасна.

Тоди саме стривъ нась селянынъ и, знявши свого соломьяного брыля, поклонывся. И, колы вже мы пройхали повзъ його, винъ все ще стоявъ безъ шапки та дывывся на нашъ экипажъ, мабуть, миркуючы: Чортъ його зна, шо воно таке,--чы воно паны, чы воно жыды?—Паны, що зъ балю повертаються...

Певне, вы бачылы лубочный малюнокъ, якъ жыды на шабашъ поспишають! Багато було загального мижъ сымъ малюнкомъ та нашимъ экипажемъ, а то й пасажырамы.

Якъ же тутъ було селянынови не зупынытыся та не полюбуваты зъ такого вельчнього поизду? А треба вамъ сказати, шо курява не ховала нашої вельчности, бо мы рушалаы ходою, и тилькы наши особы стырчали зъ глыбокою жыдивської брычки, а самъ господаръ ишовъ пишки, поганяючы свою охлялу шкапу.

Де-килькы разивъ долиталы до мене якисъ жыдивськи слова, шо зъ зитханьямъ промовлявъ ихъ нашъ фурманъ, и такъ гостро промовлявъ винъ ту жъ саму фразу, шо я мимохитъ завчывъ ии и просывъ його перекласты; а винъ довго не згоджувався, запевняючы мене, шо то были негарни слова.

— Таки погани,—додавъ винъ,—шо про ихъ и думаты не лычыты, а не те, щобъ ихъ ще говорыты.

Але жъ я пообищавъ йому грывню миди на горилку, и винъ, подывывшысь на мене неймовирно, промовывъ:

— „Уни хушавке месъ“—по вашому значытyme, шо жыва людына безъ грошей однаково, шо й мертва.

Суша жыдивска прыказка!

Отъ мы й йидемо соби повагомъ дорижкою помижъ роскишно орослынистыю, цо була освичена ранишнымъ сонцемъ. Роса вже трохи пидсохла, й коныкы почыналы по зеленыхъ жытахъ свое цокання, таке тыхе, таке мелодийне цокання, шо якъ бы була не вкусыла мене муха за нись, я бъ, певне, заснувъ. Зигнавши клятву муху, я мимохитъ глянувъ упередъ. Боже мій! та видкиль же все отсе взялося?

На ривній зеленій поверхни, можна сказаты, передъ самымъ носомъ вызырнулы верховыны тополь, потимъ показалыся зелени макивки вербъ, потимъ по пидъ горою розистлався цилый гай, а за нымъ на цилу долину розляглося, нибы била скатертына, тыхе проворе озеро. Чудова, для души радисна картына!

Я розштотхавъ свого товариша й показавъ йому рукою на величный краевыдъ.

— Се хутиръ Антона Карловыча. Мы встанемо отуть та й пидемъ гайкомъ пишки, а винъ хай стане бия шыньку пидъ горою.

Наставывшы такъ жыда, пишылы мы просто на гайокъ; але-жъ мы потрапылы въ гайокъ не такъ легко,

якъ думалы,—бо винъ бувъ окопаний досыть шыро-
кымъ ровомъ, а супротылежный бикъ рову бувъ обсад-
женный агрусомъ.

Узявшысь зъ прытелемъ по-пидъ руки (чого я
мижъ иншымъ не можу терпиты), пишы мы вздовжъ
огорожи, шо була обсаджена высокымы тополямы. Зъ-
за тополь де-не-де просвичувалыся молады березнячки
або темнивъ тонкый молодой дубнякъ, або видразу
стрункый рядъ тополь перерывався старымъ дубомъ,
шо сивъ надъ самисенькымъ ровомъ та й простягъ
свое мальовныче гилля далеко за ривъ, ажъ на шляхъ.

Пройшовшы доброй пивъ версты, дійшы мы
ажъ до повороту огорожи та й повернули ливоручъ
на стежку, шо йшла зъ горы ривнобижно зъ ровомъ.
На съому повороти видкрылося намъ у всій своій
краси тыхе свитле озеро, облямоване густымъ зеленымъ
очеретомъ та велычезнымы вербамы розлогымы. Мени
такъ хотилося, пидійшовшы до озера, впирнуты разивъ
зо два въ його прозору воду. Але мій поводитарь за-
вважавъ, досыть докладно, шо се зовсимъ не лычыть,
бо саме тоди пидійшы до ворить парку, биля якыхъ
росло дви стари вербы. Мы легко видчынылы ворота й
увійшы въ паркъ. Довга тинява дорижка вела до бу-
дынку, шо виддалекы биливъ кризь гилля. Не дохо-
дячы до будынку, побачылы мы осторонь недалеко видъ
дорижки людыну въ билій полотняній блузи, у про-
стому солоньяному брыли та зъ цыгаромъ въ зубахъ.

— Антонс Карловычу, добрыдень вамъ!—загукавъ
мій поводитарь.

Постать у блузи зняла брыля й, вынявши цыгара зъ рота, промовыла:

— Позвольте, будьте ласкави!

Мы пидійшли одно до другога бльжче. Се бувъ самъ господарь парку чы хутора, свижий коренастый дидъ зъ самою нимецькою фізіономією. Поводатарь мій рекомендовавъ мене зъ усима эпитетами, а Антинъ Карловычъ зъ добросердешною усмишкою простягъ до мене руку й промовывъ:

— Дуже радий!

Я тежъ, зъ свого боку, промовывъ якусь ляконичну ввичлывисть, и мы зновъ выйшли на дорижку. Не встыгли мы зробыть килькы ступнивь, колы се зъза куща пахучои черемхы вь квиткахъ выбиглы до насъ дви прекрасни бияви дивчынкы рокивъ по пъять або по шистъ та й кынулыся до Антона Карловыча, гукаючи: „А що, злякалы, злякалы!“ Антинъ Карловычъ мовчкы показавъ имъ рукою на насъ, и дивчатка покынулы йогю та й сховалыся за кущъ черемхы.

Тымъ часомъ выйшли мы на зеленый лужокъ, що прылягавъ зъ одного боку до озера, а зъдругого до ганку чыстенького биленького будыночка, що кругомъ бувъ обсаджений кушамы бужку.

Дывне вражиння зробыла на мене ся тыха граціозна картына!

Слидкомъ за нами выбиглы дивчатка на лужокъ, а зъ будынку на ганокъ выйшла молода, вредлыва жинка зъ кныгою та зъ парасолькою вь руци та й пишла до дитей. То була, якъ я потимъ довидався,

гouvernantка французженка. Мы зійшли на ганокъ, и господарь запросивъ насъ видпочыты въ холодку, а самъ пишовъ у будынокъ.

На дозвилли я любувавъ зъ дитей, що гралыся на зеленому лужку, та, казаты правду, зъ стрункою велычною постати вродливою гouvernantкою, и такъ я залюбувавъ, що ажъ не примитывъ, якъ на ганокъ выйшла до насъ сама господиня. Уклонывшыся я прохавъ выбачення за свою байдужность.

— Ничого, ничого, любуйте! У насъ, дяка Богови, йе зъ чого любуваты.

И вона, лукаво всмихнувшыся, звернулася до мого товариша. Той почавъ бувъ мене рекомендоваты, алежъ вона промовыла до його нецеремонно:

— Не турбуйтесь лышень, мени вже Ангинъ Карловичъ рекомендовавъ. Розкажить-но краще, якъ вы тамъ веселылыся на балю?

Мій прыатель почавъ спысуваты їй балъ, а я тымъ часомъ ставъ роздывлятыся нацеремонну паню.

Се була гарна брюнетка, прынаймній рокивъ трыдцяты пята, зъ велыкымы выразнымы очыма карымы, зъ досыть свижымъ, якъ на їи викъ, румянцемъ на повныхъ жокахъ зъ трохи кырпатымъ носомъ, зъ прегарнымы билымы чымалымы зубамы та ледве видвислымъ пидбориддямъ. А взагали вона була сущымъ тыпомъ Украинки. Навить голосъ їи та особлыва вымова нагадувалы мени мою землячку, яку „чыновныцю“ середньої руки або высокои руки протопопшу, не дывлячыся на те, що убрана вона була якъ справжня пани.

— А нуте васъ, зъ вашимъ бальомъ!—проказала вона скоромовкою, стала на дверяхъ та й запокотила:

— Прошу найпокорнійше до покоивъ! Вы хочъ и зъ балю сьогоня, та, певне, ще не пылы чаю. По правди кажучы, й мы тилькы шо встали.

Я пишовъ слидкомъ за господынею, а товарышъ мій, яко людына знайома зъ місцевостю, пишовъ видшукуваты жыда та клопотаты про помешкання.

Въ першій свитлыци, досять великій, стривъ насъ Антинъ Карловычъ вже не въ полотняній блузи, а въ сирому пальти зъ литнього трика и просывъ мене сидаты безъ церемоніи.

— А вы, Маріяно Якимивно, пошлить свою Орышку, хай клыче до снідання Адольфину Францивну зъ дитьмы.

Господыня покыкала слугу, мыловыду дивчыну въ сільському убранні, загадала їй шось чыстою украинською мовою, и та выйшла зъ свитлыци.

Черезъ килькы хвылынъ увійшла до свитлыци гувернантка зъ обома дивчынками, а за нею й мій товарышъ. И вси мы силы кругъ столу; на столи пышався вже здоровенный самоваръ. Якъ бы я не знавъ, чи то byly диты, дакъ я бъ подумавъ, шо Маріяна Якимивна була ихъ дійсна маты: такъ любо, такъ якъ матинка любо поведылася вона зъ ными. И, на превельке диво, звертаючысь до гувернантки, вона розмовляла зъ нею по-французьки... Отъ тоби й „чыновныця“ середньої руки! Отъ тоби й протопопша выщои руки!— подумавъ я. Маріяна Якимивна просто зачарувала мене;

и якъ бы вона зверталася була до своєї Орышки на російському діалекті, дакъ я бѣ подумавъ, що маю щастя бачыты передъ себе, прынаймній, графыню, або хочъ просто даму вышого польоту. Така вже сыла упередження проты своєї ридной мовы!...

За чаемъ нагодою довидався я про ймення двохъ дивчатокъ. Одну, здається, старшу (вони були однакови на зрысть) звали Лизою, а другу Наталею. И такъ вони скидались одна на одну, що, колы бѣ пересадылы ихъ зъ мисця на мисце, я бѣ не знавъ, котра зъ ихъ Лиза, та котра Наталя. А обыдвы вони занадто скидались на свою любу матусю.

Господыня, мижъ иншымъ, звернулася до мене й поспытала, чы сподобався мени концертъ у Д...?

— Вже, певно, тамъ не обійшлося безъ концерту?— додала вона.

Я потвердывъ.

— А який віолончелистъ? Хиба не правда—прекрасный?

— Прехороший!—видповивъ я.

— Се нашъ велькый прытель. И окримъ того, що винъ прегарный артыстъ, треба знаты, що винъ людына найнижнищого, найблагороднищого серця. Та що маешъ діяты?—додала вона зъ зитханнямъ. Лиза й Наталя плачуть, колы не бачаты його днивъ зо два, а про Адольфину Францивну нема чого й казаты,—промовыла вона жартуючы й цмокнула гувернантку въ

шоку, що ажъ запалала, зъ чого я прымитывъ, што розуміе по російськы.

Мени було дуже прыемно чуты таке про людыну, яку полюбывъ я зъ одного разу, яко щось близьке до мого серця.

Писля чаю Антинъ Карловычъ звернувся до насъ и запросывъ до своеи хаты.

— Се я до ихъ тилькы въ гости прыходжу, а хата моя въ саду.

И винъ узывъ свій брыль. Мы зробылы те-жъ.

Била, укрыта соломоею хата, до якои прывивъ насъ Антинъ Карловычъ, стояла мижъ садовымъ деревомъ и разомъ була й за кабинетъ Антона Карловыча й за сторожку. Чысто немецька выгадка!

Хата Антона Карловыча, якъ взагали украинськи хаты, була перегороджена синьмы на дви половыны: властвыво на хату зъ кимнатою, та на такъ звану, комору. У комори, куды свить проходывъ черезъ одно викно, була въ його аптека та библіотека, а въ синяхъ лабораторія. Се можна було думаты черезъ те, що на шырокій груби стоявъ лембыкъ, реторта та скляни и глыняни банькы. Стины свитлычи чы кабинету byly оздоблени лукамы, стриламы, томгавкамы та иншою зброею хыжакивъ, а се свидчыло про кругосвитню подорожъ Антона Карловыча. Попидъ стинамы стояло дви козетки, а по-мижъ нымы билия стины простый дубовый стиль, а на йому електрычна машына.

— Чы не спочынете вы лышень зь дороги, а я тымъ часомъ навидаюсь у Д...—я-жъ ихній домашній ликаръ. До побачення!

И винъ лышывъ насъ у своему кабинети повнымы господарямы.

— Отъ не гадавъ я, рушаючы на балъ, попасты въ кабинетъ ученого подорожняка, а дотога—подорожняка скромного!—въ голось подумавъ я, колы мы лышылыся вдвохъ.

— Та що се!—промовывъ до мене товаришъ:—вы зазырнить у кимнату,—отъ де ридкости!

И справди ридкости! Вповоджъ усіей кимнаты пидъ стиною—шырокій стиль дубовый, заставлений найрижноманитнымы та прегарнымы ракушкамы тропичныхъ моривъ и посередъ столу, саме проты викна, плоська скрынъка, завдовжкы й завшыршкы зь аршынь, изъ шклянымъ викомъ: въ скрынъци нумизматычни ридкости Антона Карловыча.

По-мижъ монетама рижной велькости й формы побачывъ я австрійський таляръ XVII вику; на йому глыбоко було выдавлене тавро зь московськымъ гербомъ.

— Чы не правда цикава монета?—промовывъ до мене товаришъ, показуючы на таляръ:—або, краще мовыты, цикаве тавро.

— Але-жъ шо воно значыть се тавро?—поспытавъ я.

— А отъ бачте бо. Якъ ходывъ року 1664 чы 65 наказный гетьманъ Иванъ Золотаренко зь украинськымы полкамы, дакъ наши козаки не схотили браты платни

московською монетою; отъ имъ и дано австрійськымы талерамы, положившы на кожнѣй таляръ московське тавро.

Нацикавывшы зъ ридкостивъ Антона Карловыча, я вѣйшовъ у садъ, лышывшы свого товарища помрѣяты на-самоти, се-бъ-то, тришечкы поспаты. Я обѣйшовъ увесь садъ, чы, краще мовыты, паркъ и не мигъ досыть налюбоваты зъ красы деревъ та чыстоты доріжокъ и, взагали, зъ шыронимецької охайности, зъ якою все отсе ведеться. Напрыкладъ, у кого вы побачыте, окримъ Нимця, щобъ по-мижъ садовою булы посаджени кавуны, дыни и навить кукуруза? Въ Германіи се ричъ зрозумила, але жъ у насъ се неможливо просто...

Зъ саду вѣйшовъ я на греблю, обсажену вербами. Налюбовавшы зъ чыстенького, чепурненького млына на одно колесо та пройшовшы гатку, опынився я на сели.

Село, може, всього-на-всього хать зъ двадцятокъ. Але якъ ото все хореше! Що не хата, то й картына!

„Отъ, подумавъ я, й не вельке село, та веселе.“ Наважывся я поспытаты стричного селянына, чы не можна буде въ ихъ наняты коней до Прылуку.

— Можна, чому не можна, хочъ пару, хочъ дви пары, дакъ можна!

— Отъ и добре. Дакъ я зайду описля, поторгуюся.

— Добре, поторгуйтесь.

За селомъ побачывъ я панську стодолу, а коло неї скырты усякого збижжя. Пидходячы до стодолы, стривъ я токового, и винъ показавъ мени пидлеглыи йому тикъ чы гумно. Я,—бо не агрономъ,—дывывся на все позверховне та й распытувавъ тежъ позверховне; та все-жъ зъ того, що побачывъ та почувъ, вывивъ я, що не пошкодыло мабуць бы й завзятымъ агрономамъ повчытыся де-чому видъ Антона Карловыча, або хочъ видъ його токового.

Пытавъ я въ токового й про вынныцю: черезъ що, мовлявъ, Антинъ Карловычъ, маючы стилькы хлеба, не спорудывъ соби й доси невеличкои вынныци, й одержавъ видповидъ:

— Богъ ихъ святыи знае! Я й самъ казавъ имъ, щобъ спорудыты хочъ невеличку! „На-шо? кажуть: щобъ пьяныць голисенькыхъ пускаты по свиту? Не треба!“ Воны въ насъ таки чудни и, боронь Боже, якъ воны тїеи проклятушои горилкы не люблять.

— Справди, чудна людына. Ну, а пьяныци въ васъ йе на сєли?

— Ни однисинького.

— Добре. Куды-жъ вы збуваете свое зерно?

— Куды збуваемо? Никуды бильше, якъ у Д... Бачте, паны бенькетують, а мужыкы голодують. Та ще мало сього: на сєли, окримъ коршмы, що вулиця, то й шыньокъ, а въ кожному шыньку на прынаду катерынка выграва. Отъ бидный мужыкъ и пропыває пидъ ни-мецьку музыку останню нытку. Звисно, мужыкъ—дурень.

— За-те паны примудрылся! О, филантропія!—подумавъ я й попрощався зъ токовимъ.

Пидходячы до гребли, мимохить ставъ я, щобъ полюбоваты зъ старыхъ вербъ, що попускалы свои довги зелени виты у свитлу прозору воду. А зъ-за того роскишного гилля, зъ супротылежного боку ставка, вызрае зъ темной зелени биленька хатка Антона Карловыча, що такъ любо всмихалася, и, наче красуня тая, любуе зъ своєї вроды передъ дзеркаломъ, такъ вона любуе зъ себе у прозору тыхому озері.

— Благодать!—подумавъ я й пишовъ черезъ греблю до чепурненькой хатки.

Тымъ часомъ Антинъ Карловычъ повернувся видъ своихъ паціентивъ и, на превельку радистъ, привизъ зъ собою любого мого виртуоза. Мы стрилыся зъ нымъ на входи въ садъ и прыязно прывыталыся, наче най-давнійши знайоми.

До насъ выйшла Маріяна Якимивна й, нецеремонно узявши мене за руку, промовыла:

— Вы мусыте буты щыра душа, колы полюбылы нашого любого Тараса Федоровыча. Видъ самой души вамъ дякую.

Я мовчки поцидувавъ їи въ руку. Тымъ часомъ пидходывъ до насъ Антинъ Карловычъ.

— Ось глянь, глянь, що нашъ гистъ виробляе!—промовыла вона до чоловіка.

— Ничого, ничого,—говорывъ Антинъ Карловычъ усмихаючысь.—А чы не краще буде, колы мы пидемо

та побалакаемо зъ борщемъ. Якъ на вашу думку, Маріяно Якымивно?

— А й справди краще! Прошу покорно, панове!— промовыла вона до насъ, и мы пишыли обидаты.

А чы багато зъ васъ йе, панове, такыхъ, щобъ, маючы хочъ одну крипацьку душу, посадовылы поплічъ себе крипака, хочъ бы той крипакъ бувъ найвелькый геній на свити? Певенъ я, шо не знайдеться ни одного, окримъ щыро-благороднього Антона Карловыча.

Тарасъ Федоровычъ сядивъ мижъ пустотлывымы Лизою та Наталею, и вони не давалы йому бидному спокою за ввесь часъ обиду. Чудова, благородна ривнисть! Отъ бы якъ треба людямъ жыты по-мижъ собою! Та шо маемъ діяты? Не можна! Мижъ иншымъ почувъ я де-кількы французькыхъ выразивъ, шо выслылы ихъ Тарасъ Федоровычъ та гувернантка. Отъ сымъ до останку заплонывъ мене мій любый виртуозъ.

По-обиди мы, се-бъ-то, мужчыны, рушылы до Антона Карловыча въ хату покуреты. Позаякъ я не курывъ и виртуозъ мій тежъ, дакъ мы й пишыли соби гуляты по саду, ажъ покиль не выйшылы на невелычку прогальовыну, де стоявъ добрый стижокъ свижого сина. Не встоявъ я проты такой могутньої спокусы. Скинувшы галстухъ зъ шыи та сиртукъ, лигъ я на пахуче сино, а за мною, розуміється, и мій товаришъ тежъ.

Абы не подужала дримота, повивъ я здалека розмову про двохъ дивчатокъ, шо жылы нибы за годованокъ у найповажнійшого Антона Карловыча.

— Яки любі, прехороши диты!—промовивъ я.

— И, додайте, щасльви диты. Не тямлю я, шо бѣ зъ ихъ и було, колы бѣ били нашего роскишного села не було отьсого хутора й сихъ добрыхъ людей!

— А розкажить мени, справди, шо то воно за оригинална маты, шо выховеуе своихъ дитей такимъ робомъ? Мени здається, шо для дитей такого вику ни хто не спроможеться заступыты матирь.

— Отже Маріяна Якымивна спромоглася. Ось шо! Софія Самійливно, маты ихня по назвыщу, велько-свицька пани, а головна ричь—красуня... Красуня соромыться, колы ии запытае хто про здоровъя ии дитей. Се ии однаково, шо сказаты: якъ вы змарнили, Софіе Самійливно! А до того, яко свицька пани, вона писля кожного балю (а ихъ у насъ на рикъ бувае тры, а высокосного—й чотыры) мусыть виддаваты вызыты своимъ гостямъ. А гостей, вы сами бачылы, сколько понайиздыло. А отъ 17 вересня двичи стилькы найиде, не вважаючы ни на яку погоду, черезъ те, шо тоди вона сама бувае йменынницею. Покры повиддае вызыты, зыркъ—другый балъ готується, дали третій. Отакъ рикъ и мынае. А дали, колы выбереться часъ, треба й до Петербурга пойихаты: „а то, каже, мижъ цимы хохламы зовсимъ зачерствіешъ.“ Сами миркуйте, чы до дитей ий пры такому жытти? И на мою думку, вона ничего кращого й выдуматы-бѣ не змогла, якъ видлаты ихъ до рукъ Маріяни Якымивни?

— Я зь вами згоденъ, що вони зробили розумно, але чы гарно, се инша ричь.

— Певне, тутъ серце матери заховано пидъ себе-любствомъ свицької красуни. Проте-жь отсе яось не шо-давно, я чувъ, згадувала вона про ихъ. Рокивь ч-резъ два хоче вона выпровадыты ихъ до Смольного институту: „Въ полтавському, каже, поробляться вони „хохлячками“.

— И то правда. Якъ же вона не побоялася виддаты ихъ Маріяни Якимивни? Чы ий здавалося, шо можна лыху запобигты, колы будуть зь ными францу-женка—гувернантка та слуга—нимкеня?

— Де тамъ! Нимкеня сама незабаромъ зробыться „хохлячкою“, а про гувернантку нема чого й казаты. Ось слухайте, шо я вамъ скажу. Адольфина Францивна забажала вчытыся російської мовы. Отъ Маріяна Якимивна ии й учыть; але жъ замість російської мовы, ввчыла ии украинської. Софія Самійли-на трохи не посварылася зъ Маріяною Якимивною. И знаете, шо ще: вона чудово спивае де-яки наши писни. Просытывемъ ии, хай заспивае намъ хочъ одніси.

— Невидминно!

— Ось вони! ось вони!—почулы мы недалечко ды-тынчачи голосы, и ледве встыгли мы одягты сиртуку, якъ пидбиглы до насъ Лиза й Наталя та, вхопывшыся за полы сиртука Тараса Федоровыча, потягли його въ садъ примовляючи:

— Ходимо, ходимо! Неня просыть васъ граты!

Пройшовшы килькы ступнивь за артыстомъ, побачывъ я Адольфину Францивну, що прыхылылася до дерева, и, пидійшовшы до неї, промовывъ якийсь комплиментъ по-вкраїнськи; вона, трохи всмихаючысь, зовсимъ несоромливо, видповила мени: „спасыби!“

Мы пишыли слидкомъ за дитымы, розмовляючы, наче блызьки знайоми. Мижъ иншымъ, яко доказъ свого знання украинської мовы, гувернантка прочытала мени два рядкы:

Катерино, серце мое,
Лышенько зъ тобою.

И такъ любо, такъ выразно прочытала вона си вирши, що, колы бъ я бувъ не знавъ, що вона французенка, дакъ, не вагаючысь, мавъ бы ии за мою щыру землячку.

Упадаючы билия m-elle Адольфины по „хохлацькы“ на французькый ладъ, мы трохи видстали видъ дитей та арештованого артыста, а колы надійшлы до будынку, нашъ артыстъ на ганку гравъ уже украинську писню до танцивь, а Лиза та Наталя передъ ганкомъ зъ попидійманымы рученятамы, наче плещучы, танцювали примовляючы:

Гопъ-чукъ гречаныкы,
Гопъ-чукъ печеніи...

Антинъ Карловычъ, сыдячы на ганку, сердешно всмихався, а Маріяна Якимивна брала разъ-по-разъ дитей на руки й цилувала зъ найщырійшою нижнистю матери. Виддалекы стояла нимкения—прислужныця й, розворушена жвавымъ мотивомъ писни, ляскала пуч-

камы въ тактъ. Тильки простодушни шаслывци можуть выявляты зъ себе таку карту!ну!

Въ саду, окримъ хаты Антона Карловыча, була ще невеличка хатка зъ пиддашъямъ и замисть прысьбы стоялы навкругы гратчати деревъяни ослоны, а передь хаткою стара лыпа; округъ неи тежъ бувъ ослинъ, тильки не деревъяный, а дерновый.

Хатка ся була майстерською чы робочою Маріяны Якимивны. Тутъ сушыла вона садовыну, варыла варення й готувала рижни настійкы та чудови нальвкы. А пидъ лыпою видпочывала Маріяна Якимивна.

Въ отсю хатку на циле лито выносилы фортепянь, бо Маріяна Якимивна, дарма, шо мала вже прозаичный викъ и пеклувалась про найидкы та напыткы, въ души була артысткою й любыла на дозвилли забуваты свое прозаичне истнування „насушне“ й носытсь въ згукахъ, въ небесныхъ краяхъ божественной фантазіи.

Часто й довго сыдячы пидъ лыпою, добрый Антинъ Карловычъ слухавъ холодни поэтови думы практычни, курячы свою цыгару. Нибы снитъ писля проминня весняного сонця, немецка фантазія оживала, тухла въ роти цыгара, и старый молодивъ.

Въ отсю хатку завитню просыла Маріяна Якимивна своихъ гостей чаю пыты.

Писля чаю засвityлы въ хатци свичкы. M-elle Адольфина, не видмагаючысь, якъ те звычайно бува зъ гарнымы паннамы, сила за фортепянь, а Тарась Федоровычъ узаявся за віолончелю й, писля килькохъ

акордивъ, тихо, гарно, наче зъ неба, розляглася одна зъ божественныхъ сонатъ божественного Бетховена.

Мы зостались пидъ лыпою й, за ввесь часъ сонаты, сидили, прятаившы духа; навить жвави диты— и тїи прыгорнулись до Марїяны Якимивны, затыхлы и, тилькы всмихаючысь, позыралы одно на одного.— Писля сонаты Бетховена програли зъ однаковымъ хыстомъ ще дѣи сонаты Моцартови, потимъ деяки мисця зъ славутнього „Реквіума“ и нарешти зовсимъ несподивано:

„Ходыть гарбузь по городу....“

Диты билия Марїяны Якимивны закрычалы, а Антинъ Карловычъ пишовъ у хатку запалыты цыгару. Тарась Федоровычъ вироблявъ таки варїяціи на сей поспивъ на-пивъ веселїй, на-пивъ сумный, що диты зновъ прытулылыся мовчки до колинъ Марїяны Якимивны, а Антонови Карловычу зновъ цыгара погасла.

Чы багато людей, що мають долю блискучу й роскишну, провадять свои довги вечори такъ нецеремонно, просто й разомъ такъ прекрасно, якъ мы люде прости, слыве бидни, провели сей вечиръ незабутній? Певенъ я, що не багато. И выходыть, що справди прекрасне й величне духовне не потребуе жадныхъ прыкрасъ позлотыстыхъ або й злотыхъ.

Скинчывши варїяціи, артысты наши повыходылы зъ хатки до Марїяны Якимивны, щобъ вона заграла имъ що. Вона видмагалась. Мы й соби прыстали до ихъ, алежъ нишо не помагало.

— Нехай,—каже,—я вамъ завтра заграю, а то сьогондя се значытyme: писля меду—хрину. Ходимо краще гуляты. Онъ гляньте, вже й мисяченько зъ-за деревъ вызирає.

И зъ самы словамы вона увійшла въ хатку, погасыла свичкы, прычыныла й замкнула двери, и вси мы, весело балакаючи, пишлы любоваты, якъ вызирає повный мисяць зъ-за млынивъ та старои вербы й вылыскується у темній води прозорій. Я зовсимъ бувъ зачарований и декораціямы и самы простымы добрымы людьмы. Довго ще гулялы мы по саду вдвохъ зъ Тарасомъ Федоровычемъ, що прямо прычарувавъ мене до себе. Винъ, якъ се звычайно бува зъ ймовирнымы людьмы, росповивъ мени исторію свого сумного дытynного вику, безъ ніякого, зъ мого боку, домагання, якъ се тежъ звычайно бува зъ пысьменною братією. Винъ черезъ те росповивъ мени, що я зъ увагою, краще мовыты, изъ спочуттямъ, його слухавъ.

— Батька,—казавъ винъ,—я не памъятаю, й моя маты николы мени ничего про його не говорыла. Хаты въ насъ тежъ своей не було, и мы, якъ у насъ кажуть, жылы въ сусидахъ, се-бъ-то, переходылы видъ одного чоловика та до другого, ажъ покы я не почавъ ходыты. Годи вона, бо стала вже вильнищою, хотила була нанятися до кого на рикъ; алежъ нихто не хотивъ найматы іи, не знаю черезъ шо: може черезъ мене, або, що вона була такою худою та блидою... Дакъ отъ, обійшовшы марно вси села, нанялася вона, нарешти, до жыда-шынкаря. Не можу вамъ ска-

заты, скільки саме рокивъ служыла вона въ жыда; знаю тилькы, що я вже бувъ чымалый хлопець, якъ вона вмерла. А вмерла жъ вона, о-скільки я згадаю, зъ сухоткы. И, якъ теперь пам'ятаю, за килькы день до смерты прыйшла вона до своєї хыжки, або, краще мовыты, стайни зъ худобою, лягла, та вже бильшь видтиля й не выходыла. За килькы хвыльнъ до смерти прынисъ я їй воды въ кружци.

Та вже їй не можна було пыты й балакаты тежъ... Вона тилькы поманыла до себе рукою и, колы я нахыльвся до неї, ледве-ледве доторкнулась рукою до моеї головы, поцилувала мене, й дви слёзы выкотылись зъ її очей померклыхъ. Потимъ вона тыхо зитхнула й умерла.

Соцькый поховавъ її за того карбованця, що жыдь не додавъ їй за роботу. А я швендявъ по селу, ажъ помы не прыставъ до валкы старцивъ. Мижъ старцямы бувъ слипый козакъ чы бандурысть; йому мене й нараялы, яко скромного хлопця. Отъ винъ и взявъ мене замистъ попереднього поводатаря свого. А, знаєте, мени до вподобы було мое нове становыще черезъ те, що я мавъ хочъ де-який, а все жъ такы прытулокъ.

А ше бильшь до-вподобы бувъ мени слипець, що я водывъ. Се бувъ ще молодой чоловикъ и, пам'ятаю, сухорлявий та зъ довгымы пальцямы. Особливо жъ мени подобалось, колы винъ самъ соби, перебираючи повагомъ на бандури струны, тыхенько спивавъ:

„На мори сынъому, на камени билому
Ясный сокиль квылыть—проквыляе...“

Щось надзвычайне зъявлялось мойй уяви дытячій у згукяхъ та словахъ сіеи писни сумовытои.

Отъ такой самый, якъ и теперь, бувъ у Д. баль, зъ тією тилькы рижныцею, що тоди й старцямъ готували страву, а теперь вже не готують. Отъ и мы зъ валкамы старцивъ прыйшли на обидь. Сыдымо мы ото соби пидъ деревомъ, и, ждучы обиду, наладнавъ кобзу й загравъ мій кобзарь. Народъ такъ и оточывъ насъ навкругы. Отъ винъ выгравает, а я дывлюсь на-бикъ та й бачу—до насъ паны зъ паннамы. Народъ, звисно, заразъ розступився передъ панамы, и сама Софія Самійливно пидійшла до мене. Вона похльоскала мене по щоци й промовыла: „Якый гарненькый!“ А, звернувшись до панивъ, проказала: „Я невидминно визьму його за пажа до себе!“

Такъ и сталося! Другого дня я бувъ уже мижъ челядю. Та колы-жъ выявылося, не знаю черезъ що, що я невдатный на пажа, дакъ мене почалы вчыты спиваты; я мавъ успихъ. А потимъ стали вчыты й граты попереду на скрыщи, а потимъ и на віолончели.—Отъ вамъ моя проста исторія,—додавъ винъ та й замовкъ.

— Сумна, по правди кажучы, исторія!

— Що-жъ діяты? Мынуле мое справди сумне, але теперишне такє безнадійне, такє безрадисне, що колы бъ не си щыри люде, то я-бъ не знавъ, що зъ собою й робыты.

— Не зневирайтесь, мій друже; кохайтесь у свойй штуци прекрасній, и Господь заспокоить вашу душу

стражденну й пошле вашому терпинню щасливый кинець.

— Не знаю, чы знайде мій лысть Михайла Ивановыча въ Петербурзи?

— О, певне, винъ никуды не пойихавъ: се було-бъ видно.

— Та чы й можна-жъ сподиватысь, що лысть мій шо-небудь вдіе?

— Запевне. Я дуже добре знайомый зъ Михайломъ Ивановычемъ. Се предобра, найщырійша людына! Одно слово, се наймягкосердый артысть. Ще ось шо. Завтра я розлучуся зъ вами надовго, а може й назавжды; але вы й отси люде добри й отси годыны, що провивъ я вкупи зъ вами, таки дороги моему серцю, що для мене byly бъ найкращымъ дарункомъ вашымъ хочъ коротесеньки лысты. Прошу васъ, оповищайте мене хочъ де-колы. А про наслідкы вашого лысту до Михайла Ивановыча невидминно оповистить мене. Завтра я дамъ свою адресу.

И винъ обцявъ мени весты свои запыскы й засылаты ихъ шо мисяця до мене замисть лыстивъ.

— Мени такъ прѣемно,—видповивъ винъ,—вккладаты вамъ свою душу, и вы зъ такою увагою слухаете мене, що я й тоди уявлятьму, наче оповидаю вамъ особысто про мои вражиння.

У хати Антона Карловыча горило ще свитло, колы мы пидійшы до неи, але руху вже не було ніякого. Вергилій мій такъ пыльно хропивъ, що було

чутно ажъ за хатою. Небавомъ и мы почалы йому пидтакуваты.

Другого дня вранци я пишовъ бувъ на хутирѣ наняты коней зъ возомъ, щобъ йихаты зъ товаришемъ до Прылуки, колы се Антинъ Карловычъ доганяе мене вже на гребли й повертае до-дому, кажучы, що люде чемни такъ не роблять, а Маріяна Якимивна не хоче й слухаты, щобъ вы ранійшъ трьохъ днивъ покынули нашу оселю. Диты—й ти навить заплакалы, почувшы про такый вашъ вчынокъ неделикатный.

Видъ Маріяны Якимивны выслухавъ я ще докладнищу рацію.—И не думайте й не гадайте!—казала вона.—Якъ на свити живу, то ще не бачыла, щобъ люде звычайни другого жъ дня зъ гостей йихалы; навить и на мужыцькыхъ коняхъ! Сього не тилькы въ насъ, а мабудь и въ Нимцивъ не водытсья. Чы такъ, Антоне Карловычу? ты-жъ Немець! га?

— Такой я Немець, якъ ты Нимкенья,—промовывъ Антинъ Карловычъ та й засміявся.

— Ось и Тарасъ Федоровычъ останеться въ насъ,—додала Маріяна Якимивна.—Теперь йому писля балю зовсимъ нема чого тамъ роботы. А Адольфина обищае намъ сьогонда спиваты вкраинськи писни; диты жъ обищають вамъ танцюваты хочъ цилисеный день „гречанькы“.

— Й метельцы, матусю,—разомъ промовылы обыдвидивчынкы.

Не було сылы змагатыся, я й згодився. Вергілій мій забалакавъ бувъ про службу, про обов'язкы та про попечытеля.

— Вже хочъ бы вы мовчали! Носыться зъ своимъ попечытелемъ... їй Богу, правда! А ще старый знаоймый. Ходимъ лышень краще до моеи хаты чай пыты, а то зъ вами не збалакаешъ.

Переглянульсь мы зъ Вергіліємъ та й пишли мовчкы за Маріяною Якимивною.

Ще два дни гостювали мы въ сыхъ лыдей шырыхъ, и за сей часъ зробывъ я олівцемъ де-кількы краевыдивъ щаслывого хутора й слыве однимы рысамы усю нашу компанію; на першому пляни помистывъ я Наталю та Лизу, що танцюють „гречаныкы“. Все отсе ледве-ледве накыдано. Та ось уже двадцятый рикъ мынае, якъ любувавъ я зъ сіеи жывои картыны; дывлячысь на сей эскызы, я нобы зновъ люблю зъ сіеи картыны, й навить чую скрыпку та ляскання пучкамы нимкени—прыслужныци.

Мени здається, ніяке описання геніяльне особы та мисцевосты не може такъ оживыты давно-мынулого, якъ килькы смугъ, вдатно проведеныхъ олівцемъ. Прынаймни, се такъ впливає на мене.

Четвертого дня нашого перебування на благодатному хутори, такъ о годыни десятій ранку, проводылы насъ, наче найблыжчыхъ друзивъ своихъ, прывитни та щаслыви мешканци хутора цилою родыною. Навить Наталю та Лизу узялы зъ собою. И провадылы насъ не тилькы черезъ греблю, навить черезъ село ажъ до

самои клуни. Тутъ силы мы на сулокійну натычанку Антона Карловича, запряжену парою добрыхъ коней, та й рушылы.

Довго стоялы друзи наши на одному мисци й махалы намъ хусткамы. А одна дивчынка, щобъ краще було выдко и хустынку, скочыла до Антона Карловича на плече й пыльно махала намъ хустыною... Натычанка покотылася швыдче й швыдче, й купка друзивъ нашихъ ледве була прымитна на выдноколи. Ще чверть верствы, маленька долынка—й друзи наши зныкы за выдноколомъ. Ще разъ зырнувъ я назадъ, выйхавшы на горку,—овва! окримъ клуни та скыртъ, ничего не було на выдокрузи выдко. Сумно стало мени, такъ сумно, наче я прощався зъ своимы крѣвнымы на часть довгый, неомеженный. Воно такъ и сталося.

За ввесь часть подорожи прытель мій мовчавъ; я бувъ дуже радый сьому, бо не почувавъ у соби хысту розмовляты про речи найзвычайнійши. Небавомъ на выдокрузи показалося наше мисто Прылука, а трохи блыжче зъ-за темного гаю вызыралы бани, билимъ зализомъ вкрыти, соборной церкви Густынського монастыря. Колы пройиздывъ я повзъ сей замокъ-монастырь, що потроху оновлявся, дуже непрямно вразыла мене ндва башта на чотыры вуглы, ще не побилена, зъ плоскою покривлею, наче каланча.

— Що воно за дыво стырчыть ото?—запытавъ я свого прытеля.

— Се дзвиниця оновленои домашньои церкви настоятельської, що надъ малою брамою.

— Певне вже якыйсь мастакъ, костромський мужычокъ спорудывъ таку будивлю.

— Ни, выбачайте, не мужычокъ, а справжній майстеръ патентованый.

— Та й мыстецькы-жъ пидробывъ винъ византийський стиль!

— Не глузуйте лышень, будьте ласкави, зъ нашого майстра. Його ганять, а грошей не дають. А ось, якъ пойдете зъ Прылуки на Нижень, дакъ побачите въ сели дидычки N. справдешній „храмъ царя,“ сымъ такы майстромъ спорудженый.

Вже на що нашъ посвяченый знавецъ та покровитель штуки, можна мовыты, меценать нашого часу, NN.—а й той глянувъ, та тилькы рота роззявивъ; про непросвиченого нема чого й казаты.

Честъ та слава майстрови вашому!

Тымъ часомъ вйихалы мы въ мисто, а черезъ годьну прощався вже я зъ шановнымъ педагогомъ, просячы його запысуваты на корысть науки все, шо дотыкається археологii й взагали народной вдачи, се-бъ-то: прысливъя, прыказкы, писни, переказы й таке инше. А найпаче просывъ я його оповищаты мене иноди про нашихъ друзивъ добрыхъ на хутори. Винъ обищавъ мени выконаты все, колы стане сылы. И мы розлучылыся, и розлучылыся на довго.

ЧАСТИНА ДРУГА.

Розлучаючысь зь моимъ проводаремъ, я й не гадавъ тоди, що мы надовго-предовго розлучаемось; я гадавъ тоди, що чей же кыивська Комисія Археографична й на той рикъ прыпоручить мени поихаты по Вкраини,—я буду въ Черныгови, а звидтіль пойиду черезъ Нижынъ на Прылуку и по дорози гляну на хвалений той „храмъ“, споруженый коштомъ дидычки Н., а въ Прылуци погостю я въ мого Вергилия день-два та, колы буде можна, навидаемось до Антона Карловича та до Маріяны Якимовны и налюбуюмо зь ихъ прегарного хутора.

Такъ гадавъ я тоди, та... не такъ склалось, якъ ждалось. Выйшло те, що я цилыхъ 20 рокивъ (писля мого выйизду зь Прылуки) Кыива, Черныгова, Нижена, й Прылуки й мого Автомедона, хутора й усього, що бачывъ я тамъ прекрасного, не тильки не бачывъ, але навить цилыхъ двадцять литъ не бачывъ моеи Украйны любои й згука ридного не чувъ. Отъ що доля иноди зь намы діе! Писля 20-литньої мандривкы по чужыни, повернувъ я на Вкраину. Перейиздячы черезъ смиренне мисто Прылуку, згадавъ сиренькый будыночкъ на рози двоохъ грязькыхъ вулиць и казавъ фурманови зупынытсь бия того мизерного будыночку. Злизъ я зь воза, увиходжу въ двирь, мене зустричають два хлопчыкы; я пытаю, чы тутъ живе Иванъ Максимовычъ Скошенко.

— Тутъ!—видповидають разомъ обыдва хлопци.

— Чы винъ въ господи?

— Нема, воны въ школи.

— А чы нема у васъ дома кого старшого видъ васъ?

— Йе маты дома, та тилькы вже видпочывають, ось мы ии розбудымо.

— Не треба, не будить. Я потимъ зайду.

И я пойхавъ на почтову станцію.

День бувъ прехорошый. Вже вечерило. Поскладавши свои покупкы та торбынку на ганку станційного будынку и видаючи подорожню доглядачеви, прохавъ я його не запрягаты коней.

А покы сивъ я на свой мизеріи, на покупку бѣ то, й почавъ малюваты муровану церкву, прехороше освичену вечирнимъ сонцемъ. Церква та якась незграбна, але досыть oryginalна на штыбѣ. Збудовано ии коштомъ прылуцького полковныка Игната Г.

Се той самы Г., що першый покынувъ Мазепу й прыставъ до царя Петра; за се писля смерти полковныка Носа, дано йому прылуцьке полковныцтво й обдаровано великыма маетностямы въ тому жѣ такы полку. Закымъ змалювавъ я сей памятникъ знаменытого полковныка, сонце стояло вже на вечирньому пружи, и юрба школяривъ показалася на вулыци, а трохы згодомъ рушыла по вулыци сухорлява, дужковата постать, зъ парасолемъ замисть ципка въ руци. Се бувъ мій Вергилій, и я трохы чы не тупкы побигъ до нього на зустричъ. Довго стоялы мы середь вулыци одынъ проты одного, и нарешти, писля довгихъ згадокъ, винъ простягъ до мене руку й промовывъ:

— Антыкварій! Антыкварій! Дакъ отсе вы?... А я вже зовсимъ бувъ поховавъ васъ!... Та якъ же вы переминылись! Зовсимъ бувъ не пизнавъ васъ..

— Спасыби ще, хочъ згадалы.

— Та я васъ завжды згадувавъ, тилькы по выду не пизнавъ. Прошу жъ васъ, будьте ласкави, видвидаты мене въ мой келіи убогій.

И розмовляючи пидійшли мы повагомъ до брамы сиренького, давно мени знайомого будынку. Биля брамы, якъ се звычайно буває по маленькихъ мистахъ, стояла лавка, що вже въ землю вросла. Мы мовчки глянули на неи й силы.

— Эге,—дакъ отъ вы й попомандрувалы,—сумно промовивъ Иванъ Максимовичъ.—И свиту Божого побачылы, певне й заграницею не разъ побувалы... А я, якъ зализъ у цей темный кутокъ, дакъ и на свить Божый не показуюсь: сыджу соби, можна сказаты, безъ жадного руху!...

И довго мы балакалы, згадуючи свое минуле. Мижъ иншымъ винъ расповивъ мени, що небавомъ писля нашої розлуки винъ одружився зъ благородною й гарно выхованою, хочъ и убогою, дивчиною.

— Думавъ, каже, я зъ нею свій викъ звикуваты въ шастю та въ любви, але Богъ судывъ мени коротаты свій викъ самотою!... И старый заплакавъ.

— Братику!—озвався жиночий голось зъ-за брамы:—ходить-но до хаты, часъ вечеряты, диты хочуть спаты.

— Нагодуйте ихъ, сестрычко, та й покладить, а мы ще трошкы посыдымо отуть. Сестро! зъ нами сьогодня

гисть вечерятыме, дакъ вы бѣ тамъ чого-небудь дода-
лы, хочъ карасыка засмажылы, чы то послалы Теклю,
знаете, за тымъ...

— Добре, братику, пошлю.

— Эге... Дакъ отъ на третьому роци раювання на-
шого,—казавъ винъ повагомъ дали,—вона й покынула
мене на-выкы. Правда, ще не зовсимъ я сиротына: вона
лышыла мени дытynu свою малу; для неи, можна ска-
заты, я й жыву. Того жъ такы року у сестры моеи
нагло вмеръ чоловікъ и покынувъ ии тежъ зъ малою
сыриткою. Отъ мы й зійшлыся до одного кутка та й
дилымо свое горе, якъ намъ Богъ допоможе. Отсе ду-
маю, колы Богъ дасть, дитей до гимназиі, а тоди...

— Братику,—зновъ озвався зъ-за брамы жиночый
голосъ,—ходить-но въ свитлыцю. На двори роса й хо-
лодно, а на васъ тилькы фракъ.

— Заразъ, заразъ, сестрыце! Ходимо до нашої хаты,
а то й справди колы бѣ намъ не остудытыся. Бо намъ
зъ вами не можна хвалытыся молодостю, що цвите
здоровьямъ. Ходимо!

Мы повставалы зъ лавкы и мовчкы увійшы въ хату.

Свитлычка, де назадъ тому рокывъ зъ 20 про-
вивъ я килькы день бурлацькымъ звычайемъ, була та-жъ,
та не та. Биднота та-жъ, та тилькы биднота ся була
вмыта й причепурена жиночою рукою. На чыстенькому
помости чыстеньки кылимкы, по викнахъ били зана-
вискы, на викнахъ бальзамынкы та гераніи у горшкахъ;
стиль, дощана канапа, табуретки лыпови—ти-жъ, та

якось инакше дывылись. Шо то значыть жиноча рука въ домашньому побути мушны, навить чепурного!

Въ побути мушнъ цвильныхъ се не такъ ще кыдається въ вичи, якъ у військовихъ. Зайдить, наприкладъ, до хаты нежонатого офицера: хата, якъ хата, та зъ неи люлькою та тютюнемъ такъ и пре. А въ жонатого офицера тежъ хата, та въ сій хати скрыня (на ній въ нежонатого спыть слуга-салдаты изъ собакою) застелена кылимкомъ и заступае канапу. На дощаному столыку, замисть тютюнныци та протычки до люльки, рябенъка серветочка ярославська, зеркальце або яка жиноча работа. Одно слово, въ жыттю родыному, навить пры убожестви, йе якась свижа прываблывисть матеріяльна, а вже про моральну прываблывисть я й не кажу!

Зъ другои свитлычки выйшла до насъ бабуся въ чорній шали та въ билому чепчыку; така вона люба бабуся та чыстенъка, шо ридко колы стривавъ я та кыхъ на своему выку.

— Рекомендую вамъ: моя сестрыця, Марія Максывна!

Я прывытався.

— А це, сестрыце, мій старый добрый знайомый N.N.

Я прывытався вдруге, а вона промовыла:

— Сидайте, будьте ласкави!

Я сивъ, а Иванъ Максывовычъ зырнувъ у другу свитлыцю й, звертаючысь до мене, промовывъ:

— Яка добра, розумна та догадлыва въ мене сестра! Знаете, мени й не въ-тямки прывитаты васъ зъ дороги

чаемъ, се-жъ бо такъ прѣмно! Я живу въ ней—просто, якъ у Бога за дверьма! Ну, почаствуйте-жъ насъ, моя кохана, моя безцинна господине! А диты пакъ лягли спаты, сестрыце?

— Вже лягли, братику, — видповила бабуся, становлячы на стилъ склянки зъ чаемъ.

— Ну, добре, я вамъ завтра ихъ покажу. А котрый вже рикъ пишовъ имъ, сetryце? Вони въ насъ, знаете, ровесныкы,—додавъ винъ, звертаючысь до мене.

— Та ось на Петра и Павла мыне по 12!

— Вже по 12! Боже-свите! Якъ то швидко мынають наши лита старіи!... промовывъ винъ неначе самъ до себе.

— Дванадцять! дванадцять!.. эге!..—майже крыкнувъ винъ, ударывшы себе долонею по лоби,—трохы-трохы не забувъ: въ мене йе лысть до васъ; одержавъ я його ще до мого шлюбу. Такъ и лежить нероспечатаный... И знаете видъ кого?

— Ни, не знаю,—видповивъ я.

— Видъ нашего славного Тараса Федоровыча, памъятае, віолончелиста, що бувъ у Антона Карловыча на хутори?

— Боже-свите, якъ не памъятаты? Я тилькы хотивъ бувъ спытаты васъ про його.

— Все розскажу, дайте часу. Йе багато жалисного въ жыттю сіеи людны, и такого навить, що стае за науку. Въ мене навить запысано де-яки прыгоды його жыття; я й самъ, знаете, на старости литъ хотивъ

бувъ узятися за литературу, та якъ прочытавъ Марлинського, такъ мени й руки поспускалысь. Якый блискучый, якый геніальный стиль... Сестрыченко, потурбуйтеся вытягты зъ ныжньої шуфлядки пакунокъ паперу, що перевязаны мотузочкомъ.

Бабуся незабаромъ прынесла добрый оберемокъ паперивъ, мотузкомъ перевязаны й, видаючи ихъ братови, спытала:

— Чы отсе вони, братику?

— Вони, вони, сестрыце, спасыби вамъ!—Ось,—мовывъ винъ, звертаючысь до мене,—ось скільки попсовано паперу, а все отсе литература вынна.

Розвязавшы паперы, ставъ винъ ихъ перегортаты й, зупынившысь на шматку сынього паперу, мовывъ:

— Чы памъятаете, вы прохалы мене тоди запысуваты все, що я почую, що дотыкається поэзии та философиі нашего простого народу, памъятаете?

— Памъятаю,—кажу.

— Отъ я такъ и зробывъ. Тутъ знайдете вы багато премудрости. Та де-жъ винъ той лысть? Чы не згубывъ я його часомъ? Ни, ни, ось винъ. Я засылавъ його ажъ до Кыива на вашу адресу, та мсни повернули його назадъ. Васъ тоди вже не було въ Кыиви.

Винъ подавъ мени чымалый пакетъ, кажучы:

— Знаете шо? Сьогонда въ насъ среда... Погостойте въ насъ до недили, а въ недилю рушымо зъ вами въ подорожъ,—памъятаете, якъ колысь; тилькы не на балъ, а просто на хутиръ. Тамъ вы побачыте

особысто автора отсього листа. А до неділи я розберу отсе шпаргалля й може де-що вамъ прочытаю.

Я згодився. Довго братъ и сестрыця прохали мене, щобъ ночувавъ у нихъ, але я взявъ листа и пишовъ на почтову станцію.

Чы траплялось вамъ чытаты листа, що одержали вы рокивъ черезъ 15 писля того, якъ його напысавъ вашъ друзяка шырый? Хто не чытавъ такого листа, тому шкода й розказуваты й опысуваты вражиння, яке зробывъ на мене листъ мого найдостойного друга Тараса Федоровыча,—вражиння невымовне, вражиння, яке може зрозумиты тилькы той, кому траплялось чытаты такого листа.

Головний ефектъ такого листа той, що вы наче отсе тилькы-що попрощались и ось чытаете рядкы, учора тилькы напысани, а 15 рокивъ здадутся вамъ якымсь сномъ недовгымъ.

Отъ що пысавъ до мене мій безцинный другъ:

„Я трохы не вмеръ чы, краще мовыты, не збожеволивъ бувъ, колы мы прыйихали до Петербурга, и я довидався, що Михайло Ивановычъ вже другый рикъ заграницею. Отъ черезъ що мій листъ, що вы йому надислалы, лышывсь безъ наслідкывъ.

О, якъ гирко, якъ невымовно гирко, колы наши прекрасни надіи блыскучи розбывае молотъ невблаганой доли!

Я обещався напысаты до васъ заразъ, скоро довидаюсь про який-небудь результатъ зъ мого листа до Михайла Ивановыча, и отъ вже третій рикъ мынае,

колы я зибрався зъ духомъ напысаты про свои надїи, знівечени безъ жалю!

Писля того балю, або, краще мовыты, писля того концерту, де вы мене такъ шыро-сердешно оплескували,—концерту, черезъ який я полюбивъ васъ, наче ридного брата мого, такъ ото писля того балю, тыжнивъ черезъ два у нашої Софіи Самійливны прыкнунвся на ливій шоци прыщыкъ; вона його й драгнула; зъ того прыщыка зробывся чыракъ, а зъ чырака къ серпню мисяцю зробывлася така рана, що вона ледве іи рукою затулювала. Отъ вы подумайте, яково то ій: красуня,—а не мынуло й мисяця, якъ на неи не можна було й дывытыся! Красуня, уважайте, така, що знехтовала обовъязокъ матери, абы зберегты свою вроду... Здається, отой великый музыка Бетховень не такъ мордовався, якъ оглухъ, або великый вашъ Буанарети, колы ослипъ, якъ вона, горопашна, мордовалася.

Умовылыся въ половыни серпня до Петербурга. До квартету и мене прызначылы. Радисть мою тилькы вамъ можна зрозумиты. Я думавъ: ось то колы прыйшовъ край лыха мого! А лыхо тилькы ще почыналося... Пойихалы мы. На дорози й самъ винъ занедужавъ та, не дойизлячы до Великыхъ Лукъ, на станціи Выруты вмеръ. Я певень, що се вона збавыла йому вику своими вытребенькамы. Сказаты по правди,—ничого нема жахлывійшого на свити, якъ знагла знівечена красуня. Гїена, просто, гїена одна! Вже жъ пакъ, що, писля прыйизду до Петербурга, не до гостей було и не до

квартетивъ; а мій обов'язокъ лакейський невеликий бувъ: прыберу вранци свитлицы та й геть соби на цилый день—куды очи.

Ой краще бъ мени було николы не бачыты свиту Божого, нижь бачыты його, почуваты й не насмилюватись а-ни почуваты, а-ни дывытысь на його!

Зъ того дня, колы довидався я, що Михайло Ивановычъ заграницею, я занедужавъ спершу на пропасныцю, а потимъ черезъ мисяць бачу, що я въ Петривському шпыталю, на Петербурській сторони.

Що середы й суботы стали мене видвидуваты товариши мои, лакеи—виртуозы, и „во едину отъ суботъ“ переказали мени, що наша Софія Самійливно пидъ ножемъ якогось хирурга славетного Богу духа видала... Отъ таке-то! Осыротилы.

Помалу я выдужувавъ, такъ помалу, що навить було самъ головный докторъ Кохъ, проходячы повзъ мое лижко, не зупынявся. По весни одначе мен можна було вже гуляты по довгому та широкому корыдори, а въ маю—мисяцю о-пивдня мене вже й въ садъ пускалы годинъ на дви.

Треба вамъ сказаты, що въ Петербурському шп тали йе й жиночый шпыталь на третьому поверси, и жи-ноцтво, що выдужуе, тежь выпускають о-пивдни по-гуляты въ саду.

Одного разу сыджу я на лавци, колы се надходыть до мене хора у тыковому халати, у билому очипку чы „колпаку“, якый бувъ и на мени. Мы мовчки просыдили, ажъ докы слуга не загнавъ насъ до палатокъ.

Другого дня була добра година: насъ зновъ о-пивдни послалы гуляты. Попоходывшы трохы, сивъ я на ослинь. Учорашня дама зновъ прыходить и сидае билиа мене. Якосъ невмысне глянувъ я на ѳи выдъ и побачывъ, що вона красуня, та тилькы така змарнила, така смутна, що у мене ажъ серце заболело, дывлячысь на неи. Я не вытерпивъ и спытавъ у неи:

— Чого вы такъ сумуете?

— Того мабуть, чого й вы: черезъ здоровья.

Видповидъ ѳи не задовольнила мене. Трохы по-мовчавшы, я зновъ до неи:

— Здоровья ваше оновыться, та про здоровья такъ и не сумують, якъ вы сумуете.

— Та се правда,—видповила вона й затулыла очи рукою.

Слуга зновъ загнавъ насъ до палатокъ. Килькы день пидъ рядъ ишовъ дощъ, и я сумовавъ, не бачучы моеи знайомои незнайомои. Нарешти, дощыкъ переставъ насъ зновъ выпустылы въ садъ. Я просто пишовъ до лавкы и, на вдывовыжу, на лавци вже сыдила моя знай ома; смутна вона була. Я вклонывся ѳй, вона мени тежъ зъ ледве прымитною, але такую сумною усмишкою, що я трохы не заплакавъ.

— Вы, мабуть, дуже нещаслыви,—промовывъ я до неи, сидаючи на лавци.

— А вы щаслыви?—спытала вона, поглянувшы на мене такъ пыльно, що я ажъ затремтивъ и, опамъятовывшысь, глянувъ на неи; а вона все ще дывылась на мене тымъ пыльнымъ поглядомъ.

— Придивиться до мене,—мовила вона.

Я сылкувався дивитись на неї; та не можна було витримати погляду її глибоко-запалыхъ вслыкихъ очей чорныхъ, що були встроємени на мене.

— Невже вы не признаете мене?—спытала вона дуже тихымъ голосомъ.

— Не признаю,—видповивъ я.

— Мабуть, я такъ вельмы переминылась?—И трохи згодомъ мовила:

— Такъ згадайте-жъ Кленивку й 23 квітня 18... що? згадали?

— Боже свите! Невже се вы, m—lle Тарасовычевна?

— Я,—ледве вимовила вона й залылася слизми гиркымы.

Другого дня зновъ стрылся мы зъ нею біля тієї самої лавкы. Вона росповила мени свою исторію сумну. Не майстеръ я спысувати, чы высловлювати свои думкы на папери, а вже якъ бы почавъ збочувати та заходыты въ философію, такъ бы лысту моёму й краю не було! Одначе сумна исторія, яку росповила мени про себе бидолашна Тарасовычевна, повинна прымусыты й нимого говорыты й глухого слухаты. Якъ бы вмивъ я пысаты, я бъ напысавъ вельчезну кныгу про ти гыдоты, яки діются въ Кленивци.

Не пам'ятаю, въ якій властыво кныжци вычитавъ я таку думку: колы мы бачымо падлюку й не вказуемъ на його пучкамы, то мы майже однакови зъ нымъ падлюкы. Чы правда се? Мени здається, що правда.

Черезъ те я й оповидаю исторію Тарасевичивны Ктанивського пана, а вы зъ нею, що хочете, те й робить, а якъ надрукуете, такъ се буде найкраще; тилькы перепишить їи по свойому, бо въ мене нема ни складу ни ладу.

Була у насъ въ прылуцькому повити богата дидычка: тысячъ зъ чотыры крипакивъ було у неи.

Удова—бабуся бездитна, добра така, побожна, та Богъ зна, що їй прийшло. Разъ ото пойихала вона въ Кывъ на прошу та й одружылась зъ молодымъ чоловікомъ, вродлывымъ паномъ Кленивськымъ. Може, вона горопашна, неблагословенна на дитей, сподиванащадокъ,—не скажу.

Сказано: людына зъ злуду зыйихала; передала увесь свій маєтокъ, вкупи зъ собою, до рукъ молодого вродлывого чоловіка, а винъ соби, не въ тимья гвиздкомъ бытый, повернувъ все по свойому. И то правда: не зъ бабою-жъ винъ брався, а зъ їи добромъ. Кримъ рижныхъ полипшень въ господарстви, зъ якихъ мужыкы ажъ крехталы, винъ завивъ у себе оркестру, попереду зъ наймытивъ, а потимъ зъ крепакивъ, збудувавъ роскошный театръ, выпысавъ артистивъ, завивъ театральну школу, все-жъ такы зъ крипакивъ. Бенкетамъ не було кинця-краю.

Попореду бабуся була рада-радисенька, що въ неи такой молодой чоловікъ. Коля жъ власни актрысы пидрослы й почалы граты роли коханокъ та одалисокъ, дакъ винъ, дывлячысь на викъ та на вроду, зробывъ зъ ихъ гаремъ на взиръ турецького султана. Певна

ричь, такой гаремъ не сховався въ тайни; тилькы чудно, що остання про його довидалася бабуся-жинка, а довидавшысь про все се, занедужала, бидна, зъ заздности и небавомъ Богови душу виддала.

На смертному лижку вона простыла свого чоловіка зрадливого и плачучы просыла сповныты їи остатню волю, се-бъ-то покласты до банку капиталъ и на проценты його виховуваты трьохъ дивчатъ сыритъ въ полтавському институтѣ. Винь, певна ричь, заприсягся сповныты їи волю. И винь їи сповнивъ, та тилькы по свойому. По смерти дружыны обралы його маршалкомъ, яко людыну варту й добромьснѣ. Винь тутъ жс, въ себе въ повити, знайшовъ не трьохъ, а п'ятьохъ сыритокъ и завивъ у себе на сели благородный пансіонъ, нанявъ вчытеля, якогось видставного поручыка, та гувернантку безъ свидоцтва, а головный доглядъ за моральностю годованокъ прыпоручивъ сестри свой, брыдкій та червононосій баби. Колы сыриткы стали пидростаты, такъ їихъ. окримъ російській грамоты, почалы вчыты й красныхъ штукъ, се-бъ-то спививъ, музыкы (гры на гытари), танцивъ и спечничной штуку. И всего отсього, певна ричь, навчалы свои крепостни вчытели та вчытелькы. До гурту отсихъ годованокъ безталанныхъ попала й Тарасевичивна. Колы годованкы вже доволи попидросталы, то тыхъ, що булы бильшь вродльви, зъ порады головної доглядачкы, побрано, яко окрасу гарему, але-жъ не яко рабынь, а яко благородныхъ султаншъ. Тарасевичивна, хочъ була й краща за всихъ ихъ, и розумнійша, и шы-

рїиша, та була тендитна, и черезъ те не звернула на Себе ласкавого ока султанського. Не завьдувала вона своимъ щасливимъ подругамъ, що вони й на баляхъ бували й танцювали, а на театри являлись передъ багатьома гистьмы, певна ричъ, зъ крипостными артыстами, бо не вьховуваты жъ, справди, для ихъ сыритокъ-хлопчыкивъ панського кодла!—визьме ото соби потыхеньку який романъ зъ библиотеки та й сховається де въ саду, чытае його та й плаче. Отакъ перечытала вона вси романы, яки булы въ библиотеци. И вьйшло те, що вона не тьмыла, що й дїяты зъ собою ще гирше змарнила; такъ и думалы вси, що вьмре. Вже й на лижко лягла, на ладанъ, якъ кажуть, дыхала; вже й хрестъ намогыльний зробылы; вже й труну хотилы робыты, та боялысь, щобъ не вьйшла короткою, бо, кажуть, люде вытягаються, якъ умруть. А хреста дубового зробылы сажнивъ въ 2 заввышкы... Вькрасывъ його свїй маляръ зелеными фарбами, зъ одного боку намалювавъ Розпѣяття, а зъ другого—скорбящу Божу матирь; знызу прыбывъ зализну тьмычку и напысавъ: „Здѣсь покоится раба Божїя Марїя Тарасевичъ, воспитанница Г. Кленовскаго, скончавшаяся 18.... мѣсяца.... числа“. Тилькы трапылось такъ, що вона вьдужала, а вмерла кохана покоивка сестры Кленивського, и вмерла, кажуть, не своею смертїю. Вранци вона гладыла праскою сукню своїй пани на недилю та трохы запизнылась: вже у вси дзвоны продзвонылы, а вона ще не вьготовыла сукни; отъ пани разсердылась, выхопыла въ неи зъ рукъ праску, та й трись

їи „невмысне“ по голови такъ, що та бидна тутъ и ноги протягнула. Чы правда, чы ни, напсвне не скажу, а хреста своими власными очыма бачывъ и напысь чытавъ. И, знаете, такый хрестъ—се, такъ сказаты, картина, особлыво на вбогому гробовыщы силському, де все Богъ зна яки хрестыкы: ти похылылысь, ти зовсимъ упалы, а на деякихъ могылахъ и зовсимъ нема хрестивъ. А тутъ ось така фигура, та ще яка фигура! Я певень, що п. Кленивскій самъ сподивався на сей ефектъ: дывыться лышень, якъ ото мы ховаемъ нашихъ годованокъ! А выйшло, що поховалы не годованку, а покоивку. Ну, та се однаковисенько, абы хрестъ дурно не пропавъ.

— Свитлыця, де вчылыся музыци, була въ одному крыли зъ нашимъ пансіономъ,—оповидала недужа дали;—колы я стала выдужуваты й тямты, то мени надзвычайно було до вподобы слухаты, якъ вони грають; мойй фантазіи недужій здавався якийсь незвычайно чудовый свить, особлыво, колы цила оркестра, наче гай або море, гуде ваддалеки й зъ сього неясного гамору видрижняється який одынъ струментъ, скрипка або флейта. О, тоди я почувала себе найшаслівійшою! Згукы си здавались мени найчыстійшою, радистною молитвою, що выходыла зъ глыбыны скорботной души.

— О, навищо я выдужала, чомъ на-вики не лышылася въ тому недужому, але блаженному становыщы!

— Въ господи бувъ прегарный фортепянь, и колы мени вже можна було выходыты, то я пишла просто до нашего капельмейстера й просыла, щобъ винъ нав-

чывъ мене чытаты ноты й показувавъ початокъ фортепянной игры. Винъ... О, я давно проклѣла його. за його науку! На шо видкрывъ винъ мени тайну еднання згукивъ, на шо видкрывъ винъ мени ту божественну гармонію, шо згубыла мене!...

— Я швыдко вчыла свои перши лекціи, бо не встыгло ще въ мене на вершокъ видросты волося (я нездужала на тифъ), а я вже швыдче, нижъ винъ, чытала ноты й выробляла свои пучкы на сухыхъ этюдахъ Листа.

— Але-жъ не сами згуки годувалы мое сердце недуже... Мени подобалась сцена. Я прочытала все, шо було въ нашій библиотечи драматычного (репертуаръ нашого театру домашнього мени не подобався), почынаючи зъ Сынеуса й Трувора Сумарокова ажъ до Гамлета Вискиватова. Я въ-день, о въ-ночи марыла про Офелію, а ничого не вдіешъ; на свій першый дебютъ мусила я вчыты ролю донькы Льва Гурыча Сынычкина. Успихъ бувъ повный, и я пропала на-вики! Тоди якъ выбачылы мене въ Кленивци, я вже марыла про петербурську сцену: домашня була для мене надто тисною. На безталання мени, того-жъ лита зайихавъ до насъ Михайло Ивановичъ Глинка; винъ збиравъ тоди по Вкраини спивакивъ до прыдворной капелы. Побачывшы мене на сцени та почувшы мій голосъ та гру на фортепiani, винъ зауваживъ, шо я велька актрыса. А я... О горе мое, горе!... Я шыро-сердешно йому поняла виры. Та й хто-бъ не понявъ виры на мойому мисци? Чы не прымитылы вы тоди въ насъ молодого, дуже скромного чоловика зъ велькымы очыма баньковатымы, зъ

трохы кырпатымъ носомъ та великымъ ротомъ? То бувъ художникъ Штернбергъ. Винъ тоди пробувъ у насъ циле лито. Тыха та щира людына!

— Разъ якось я спивала пры гостяхъ арію зъ ще не скинченои тоди оперы Глинчыной „Русланъ и Людмила“,—пам'ятаєте, въ палатахъ Чорномора спивае Людмила. Супроводывъ мени самъ Михайло Ивановичъ. Скоро скинчыла я спиваты, заразы посыпалысь оплескы, певна ричъ, не мени, а авторови. И колы все замовкло, пидходитъ до мене Штернбергъ, сльозы въ його на очахъ, и мовчки цилуе мои руки. Я те-жъ заплакала й выйшла зъ залы. Зъ того часу стали мы зъ нымъ прыятелямы. Я сумеркомъ часто спивала йому арію зъ «Преціозн», и винъ, слухаючы мене, шо-разу плакавъ. Черезъ два роки писля моихъ успихивъ у Кленивци, Кленивський панъ зъ своею сестрыцею почалы збиратысь до Петербурга на зиму. Я, певна ричъ, почала просытыся зъ ными. Вони довго не згоджувалысь. Та нарешти згодылысь зъ умовою, але зъ якою умовою! Вы розуміете мене? Эге, тямые!... И знаете шо? Я згодылась!... Нехай я буду проклята, проклята, проклята! Я все забула задля штуки та столыци, усе, все жертвовала! И отъ добуткы моеи жертвы великой! Злыдарка, въ шпытали й до того пидъ назвыщемъ його крипачкы?.. Вона не спроможна була говорыты за слизмы! Другого дня почувъ я видъ неи таки подробыци!... Эхъ! Таки вони огыдлыви, шо гыдко про ихъ говорыты.

Росповимъ вамъ коротенько кинецъ ии скорботной исторіи. Прыйихала вона до Петербурга вже ва-

гитною и черезъ килькы мисяцивъ, не выходячы зъ господы, привела на свить мертву дытynu, описля-жъ занедужала на тифъ. А п. Кленивському треба було йихаты назадъ въ свою Кленивку: ото винъ ии й виддавъ до петривського шпыталю, яко свою крипачку. Отъ вамъ и вся ричь.

Ще два тыжни перебувъ я въ шпытали и щодня звычайной doby выходявъ въ садъ, сидавъ на завитный ослинь и дождавъ нещасну хору.

Якый-же, справди, гыдкый эгоистъ—чоловикъ взагали, а я особливо! Мени полехшало на души. Я, выдымо, ставъ выдужуваты писля ии сповиди. Се значыть, я бувъ задоволенный, що йе нещаснійши за мене.

Щодня пытавъ я знайомого слугу зъ жиночого шпыталю: „А що? якъ ся мае оттака-то?“ и винъ зовсимъ байдужно видмовлявъ мени: „Лежыть!“ За день до моеи выпыскы зъ шпыталю, спытавъ я въ слугы: „А шо така-то?“ —

— „Въ мертвецкый“—видповивъ винъ мени, та й пишовъ за своимъ диломъ, може, за довгымъ кошемъ, на взорець труны, щобъ вынести ще й другого до покійныцькой.

Другого дня, выпысавшысь зъ шпыталю, просывъ я дозволу поховаты небижку, назвавшы себе: такый-то. И мени не заборонено. Я запросывъ своихъ товаришивъ. Вы памьятасте, шо насъ четверо прыйихало до Петербурга (се-бъ-то квартетъ), и мы вынесли ии на Смоленське гробовыще, а писля панахыды проспывалы: „Со святымы ушокой“, та кынулы по жмени земли на ии

вичню оселю—та й бильшъ ничего! Скоро пился того надиславъ намъ управытель маетка паспорты, и мы лышылысь ще на рикъ у Петербурзи. И знаете, шо мы зробылы? Прыкынулысь нимцямы та й ходылы по вулыцяхъ, потишаючы добрыхъ людей своею музыкою. И знаете, добре було,—шо—дня майже по карбованцю прыносылы до-дому.

Колы не браты харчивъ та кватыры, я шо—недели мавъ карбованця и бувъ шо-тыжня двичи або й трычи въ театри (певна ричъ, на галереи). Я видкладавъ шо-тыжня коповыка про всякъ случай, се-бъ-то для Серве, щобъ прыдбаты килькы його этюдывъ, послухаты його самого.

По часопысяхъ вже давно публикують, шо винъ безпреминно буде на велькый пистъ въ Петербурзи. Дай Боже! Мени якось страшно стае, якъ подумаю, шо я слухатыму Серве. Невже слава така могутня?...

Наблыжаеця зима, й нашымъ концертамъ вулычнымъ доведеться сказаты: „годи“. Шо намъ дияты? Товарыство мое хоче залышыты штуку та йты въ лакеи. А мени-бъ хотилось видхылыты ихъ видъ сией спокусы; та якъ видхылыты?

Зъ сией думкою доброю пишовъ я якось на Хрестовський остривъ до немецкого ресторану, побалакавъ зъ господаремъ, шо такъ и такъ... йе, мовъ, у мене квартетъ богемцивъ; чы не можна имъ часомъ прытыты въ недилю попробуваты щастя въ васъ? Згода! И мы першой-жъ недели потишалы не безъ корысты. За одынъ день добулы мы соби грошей на цилый тыждень. То-

варыство мое пидбальорылось. На другу недилю заробылы мы ще бильше, а на ту недилю заробитокъ нашъ ставъ ще кращый, бо вже почалася справжня зима.

Тутъ же въ ресторани стали насъ запрошуваты черезъ господаря на вечерныи, весилля та инше. Товарыство обрало мене за впорядчыка та скарбнычка, и мы прожылы зиму, якъ у Бога за дверыма.

Зъ Пискивъ перейхалы мы до Мыколы Морського. Кватырою була намъ вже не маленька свитлыця, а дви вельки зъ прыхожю. За зиму, вильнымъ часомъ, протудювавъ я всього Ромберга та Серве, що можна було добуты.

До велького театру навидувався я двичи або трычи на тыждень, и хочъ вряды-годы, а бачывъ и чувъ усе, що було найкращого тїей зимы въ столыци.

Мынала нарешти й несамовыта масныця, мывувъ и першый тыждень велького посту...

О, незабутній афишъ!...

Треба вамъ сказаты, що я часто робывъ кругъ, абы пройты повзъ який театръ, а властыво на те, щобъ перечытаты афишъ.

У недилю бувъ я на соборній анатеми въ Казанському Собори. Выйшовъ зъ церкви, переходжу „Невскій проспектъ“ и здалеки бачу, нибы шось биліе за дротяною граткою бия пидъйизду Энгельгардового будынку... Я надавъ ходы! Доходжу до пидъйизду, чы краше, до дротяного ящыка, и мени здалось, що я бачу самого Серве, Вьстана. А то булы тилькы литеры.

Довго читавъ я си литеры завитни, поky добрався до справдешнього ихъ змисту. А змистъ бувъ такий, що отъ Серве дае сьогондѣ-жъ концертъ. Початокъ о 7-й годины ввечери. Я заразъ же купивъ билетъ. И цилисенный день ходивъ я по „Невському проспекту,“ заходячы иноди до Александринського та Михайливського театру перечитаты афишь. О 6-й годины ввечера я вже бувъ у зали. Зала вже була напивъ освитленою, и я ввійшовъ першымъ. Швейцаръ, впускаючы мене до залы, попереду пыльно огледивъ мене зъ головы до пѣть, мабуть, тымъ, що я зовсимъ не бувъ похожий на людыну, якій пѣть карбованцивъ ничего не значыть. Ну, та Богъ зъ нымъ: хай соби думае, що хоче!

Публика почала вже збиратысь, и о половыни сьомой зала була вже повною. Мене ажъ дрижакы напали. А якъ хтось била мене промовивъ: „Вже сьома годына,“ я затремтивъ, а серце такъ и охололо; наче въ одынъ ментъ не стало въ йому теплои крови, а замисть крови потекла холодна вода.

Увертюра, якои я не слухавъ, скинчылась. Оркестръ видпочувъ, наладнавсь—и черезъ килькы хвыльнъ зъявивсь Серве, а за нымъ Вьетанъ.

Боже свите! Я не чувъ та й не почую николы ничего крашого!

Листъ передъ Серве—фанфаронъ, простый механикъ, ремисныкъ передъ артыстомъ, та й бильшь ничего! Я ледве памѣтаю, якъ выйшовъ я зъ залы и якъ прыйшовъ до-дому.

Пам'ятаю тильки, що товариши видняли въ мене віолончелю й сховали.

Зъ того вечора я вже не беру віолончели въ руки и згукивъ ии чуты не могу: се для мене однаково, що ножемъ по серцю. Впродовжъ посту я читавъ ино афишы й разъ бувъ у „Велькому театри,“ якъ давали ораторію Гайдена „Створиння всесвиту.“ Се справди створиння всесвиту. Тильки для „Велького театру“ надто голосне: трудно слухаты. Тутъ потрібный прынаймни Михайливський манижъ.

Ще давали концертъ въ „Патріотычному Институти,“ де бравъ участь мижъ иншымы знаменытостямы и графъ Вельгорський. Чого-бъ я не виддавъ, абы його послухаты? Та ба! свить сей не про всихъ однаковий.

Саме въ вельку субботу поклыкано насъ усихъ чотырьохъ у полицію й сказано, що панъ каже намъ вернутысь на село, й щобъ мы наладнались на ту середу йты въ похидъ зъ Севастопольською партією. До середы мы зовсимъ прыготувалыся. Рано-вранци въ середу выйшли зъ юрбою колодныкивъ зъ брамы Литовського замку (тюрьмы) зъ струментамы за плечыма и сумно, мовчки потяглысь до москоської рогатки.

Не опысуватому вамъ подорожи нашої, бо вона нестерпуче-одноманитна й огыдлыва.

На третій мисяць нашої подорожи зъ юрбою злочынцивъ добылысь мы нарешти до Прылуки.— Чудне й страшне почуття обхопыло мене, якъ глянувъ на ридни мисця.

Довго я вагався, чы посылаты зь тюрмы до нашого доброго Ивана Максимовича. Нарешти, черезъ вельку сылу поборовъ непевный соромъ та острахъ и пославъ за нымъ тюряжника.

Черезъ пивъ годыны прыйшовъ Иванъ Максимовичъ и взявъ мене на поруки. Цилу ничъ мы не заплюшали очей, оповидаючи одынъ одному все про себе, наче ридни браты писля довгои розлуки. Мижъ иншымы новынами расповивъ винъ мени, що небижчыкъ Г., нашъ панъ, сплундрувавъ и процвындывъ свій мастокъ, и що купивъ його зь молотка п. Клевивський; винъ хотивъ бувъ забраты до себе на выховання й Лизу та Наталю, але-жъ Антинъ Карловичъ виддавъ тилькы Лизу, а Наталю лышывъ у себе дома; m-elle Адольфина тежъ покынула ихъ вкупи зь Лизою. Другого дня я покынувъ Прылуку й ночувавъ на хутори. На хутори все, якъ було й ранійше, тилькы Лизы та m-elle Адольфины не було, а господари, здається, ще помолодшала й поглядшала.

Сонце було вже на вечирньому пружи, якъ я пидходывъ до хутора. Селяне, що стричались мени бия села, вытаючы мене добры - вечиромъ, позырала на мене й, поскыдавши шапки, хрестылися. Мене се чымало дывувало: що воно значить, що вони хрестяться?— пытавъ я самъ себе. Якъ я входывъ у село, диты, побачывшы мене, геть залышылы свои играшки и, ставшы бия хаты, мовчкы поглядала на мене, а котри были старійши, ти хрестылися. Я хотивъ бувъ пидійты до нихъ, щобъ довидатысь про прычину повагы до моси

особы, та диты розбиглыся. Я пишовъ дали, и вже на гребли стрилась мени бабуся и, перехрестывшысь, зупынула й спытала въ мене:

— Куды се вы домовынку несете? У Д... пан-отець померъ, поховаты никому буде, бо нового ще не прыслано.

Тутъ тильки догадався я, шо вони прыймалы мою скрынку зъ скрипки за дытнячу труну.

Пидійшовшы до самой брамы саду, я зупынився, вагаючысь, чы заходты мени до ихъ, чы проиты поузь, и тильки наважнвсья бувъ вчыныты останне, якъ почувся дытячий голось у саду. То бувъ голось Натали. Я видчынивъ браму, але ввійты въ садъ все ще доявсья.

Тильки Наталя, побачывшы мене, гукнула:—Мамо! мамо! старецъ прыйшовъ! (Маріану Якимивну вона звала мамою).

— Де ты бачышь старця?—спытала Маріяна Якимивна, выходячы зъ-за дерева:

— Онъ де—за брамою!

И вони пидійшли до мене на килькы ступнивъ. Наталя кынулась до мене, гукаючы:

— Мамо! мамо! се не старецъ: се нашъ Тарась Федоровычъ!

Мене й справди не трудно було прыйняты за старця: обшарпанный, увесь у куряви, зъ ципкомъ у руци и зъ скрынкою за плечыма. Маріяна Якимивна пидійшла до мене, подывылась на мене, взяла мене за руку, промовывшы: „Увиходьте!“—и заплакала. У мене

ноги затрусылыся, и я впавъ на землю й зарыдавъ наче мала дытына. Наталя побигла по Антона Карловича, и черезъ килькы хвылынъ мы вже вси трое йшли до будынку и вси трое плакалы. Наталя тежъ плакала,—певна ричъ, несвидомо. Проте й уже 12-ый рикъ.

А що то за дытына, колы бъ вы подывылыся? Се така врода, така дытяча краса, якои мени не доводилося навить на картынахъ бачыты.

Пидходячы до будынку, Антинъ Карловичъ майже вырвавъ мене зъ рукъ Маріаны Якимивны и повивъ до своєї хаты. „Почекайте мене тутъ,“—мовивъ винъ мени, саджаючы мене на дзыглыку въ своій хати. „Я заразь-же,“—додавъ винъ вже за дверыма.

Въ хати було все, якъ и попереду, навить повитря було таке-жъ, и мени здавалося, нибы я вчора тилькы вийшовъ зъ сієї свитлыци. Черезъ хвылыну увійшовъ хлопець зъ умывальныкомъ та рушныкомъ, а за нымъ и самъ Антинъ Карловичъ, несучы въ рукахъ свое сиреньке пальто та инши належности до туалету.

— А чоботы знайдете въ отій свитлыци,—мовивъ винъ, показуючы на двери зъ боку.—А якъ скинчыте, прыходьте чай пыты. Мы васъ ждемо!—додавъ винъ, выходячы зъ хаты.

Перебравшысь, я пишовъ до господы. На ганку стрила мене Наталя й, ухопывшы за руку, закрычала:

— Мамо! мамо! подывиться, я його й не пизнала!

И зъ сымы словамы увела мене въ хату и, саджаючи мене на дзыглыкъ билия столу, додала:

— Сидайте отутъ, саме проты мене й проты нени. Мы на васъ дывытывемось: бо мы васъ давно не бачылы!

Я озырнувся навкругы й сивъ. Зъ хвылыну сидилы мовчки. Маріяна Якимивна, мовчки дывлячысь на мене, заплакала й промовыла:

— Теперь насъ тилькы трое, а памъятаете—було пъятеро.

И, нальваючы чай, расповила видому вже мени историю зъ додаткамы, що m-elle Адольфини вельмы не хотилось розлучатысь зъ ными, и що вони насылу вмовылы ии перейты до п. Кленивського, що вона тамъ буде потрібна Лизи, бо Лиза така жвава!... Що Наталя проты Лиза? Се просто янголь у мене, а не дытына,— додала вона, цилуючы Наталю.

Маріяна Якимивна почала була роспытуваты мене про мои мандривкы, та Антинъ Карловычъ перебувъ ии, кажучы, що на те буде завтришній день, а шо сьгодня треба спытаты въ гостя, чы не хоче винъ йисты й спаты.

Писля вечери пишовъ я въ хату, де вже була постлана мени постеля. Боже свите!—подумавъ я! За шо си люде добри такъ полюбылы мене? Чы зустричалы батько та маты свого сына писля довгой розлуки зъ такою любовью, якъ вони мсне стрилы? Добри, шыри люде!

Другого дня вранци Антинъ Карловичъ зйиздывъ у Д... и выпросывъ мени дозвиль въ управителя зупынытысь на хутори черезъ хоробу.

Цилый серпень мисяць проживъ я въ отсихъ добрыхъ людей, зовсимъ якъ сынъ у батька та неньки, и зовсимъ забувъ про мій сумный побуть въ Петербурзи и про мою подорожъ гирку, не вважаючы на те, шо я шо-дня росповидавъ про те.

Ледве чы раюють такъ праведныкы въ раю, якъ я теперь раюю.

Наталя видъ мене прямо не видходить, просить мене, абы я вчывъ ии на фортепяни, хочъ вона сама незгирше грае. Просить мене вчыть ии по французки балакаты, а сама мене поправляє. А колы ввечери оповидаю я про свои прыгоды по етапахъ, вона плаче гирше самой Якимивны.

Четвертый разъ беруся за отсей лысть та не знаю, чы доведеться хочъ теперь скинчыты.

Прямо не маю вильной хвылыны. Представте соби, шо мы иноди сыдымо цилисиньки ночи въ захыстній хатци М. Якимивны,—вона за фортепяномъ, а я за скрипкою.

Виолончелю я думаю зовсимъ покинуты, бо й справди: чы стане духу граты на ній, почувшы Серве?

Мое раювання наблыжається до краю; на симъ тыжни я покину хутирь и явлюсь до нового мого властытеля. На-дали не почувваю для себе ничего доброго, а проте—все въ рукахъ Божыхъ.

Лыста сього я такъ довго пысавъ, що нарешти звыкъ до його, й мени стало сумно, колы я його скинчывъ. Думкою я николы не розлучався зъ вами, а самы часамы я зъ вами прямо живъ и расповидавъ вамъ вси мои думкы й почування. Якъ подумаю про свое жыття прыйдешне, а въ йому я вбачаю напередь багато задля себе сумного, и сумне те никому буде переказуваты, такъ мени вже теперъ тяжко.

Напышитъ до мене хочъ трое сливъ, напышитъ тилькы, що вы одержалы мого лыста, й я буду шасливый.

Прощайте, друже мій незабутній, не забувайте шырого до васъ та безталанного музыкы Н.

Хутирь...

Року Божого..., серпня... дня...

Прочытавши сього лыста, я думавъ бувъ трохи заснуты писля дороги, та—ба! Передо мною стоявъ, наче живый, музыка мій горопашный и, дывлячысь на мене, такъ скорботно всмихався, що я хотивъ бувъ засвितыты свитло й зновъ прочытаты його „послание“ тяжлыве, колы дывлюсь—у викнахъ уже биліе. Я напынувъ на себе шынелю й вышовъ на рундучокъ. Не мынуло й хвылыны, колы пидходить до мене Иванъ Максимовычъ и, писля обопильныхъ вытань, нарикае, що йому тежъ цилу ничъ не спалося, и що винъ давно вже ходыть, выгядуючы, чы не выйду я.

— Не скажу, чому мени здавалось,—сказавъ винъ,—що й вамъ тежъ не спытсья. Я хочъ и не чытавъ

лыста Тараса Федоровыча, та знавъ, що воно невеселе. Чы не такъ?

— Такъ!—видповивъ я,—навить дуже невеселе.

— И воно, певне, не дало вамъ заснути?

— Справди такъ.

— Я такъ й думавъ. Але-жъ се все ничего, а ось вы послушайте, що зъ нымъ було потимъ!..

Краще я вамъ прочытаю ввечери. Я, знаете, на старосты литахъ тежъ пустывся въ литературу. А що, думаю, не святы жъ горшки липлять. Ричъ же вельмы цікава, и колы обробыты, дакъ се выйде прямо романъ. Отъ я й узявся... А сестрыця, я певень, давно вже дожыдае зъ самоваромъ. Йй, бидолащій, тежъ чогось не спалось сю ничъ. Проте, се зъ нею часто бувае. Ходимъ лышень, се буде краще, нижъ литература.

И справди, старенька дожыдала насъ зъ чаемъ, та тилькы не въ хати, а въ садку, де бувъ литній кабинетъ братика. Въ садку було де-кількы мыршавыхъ деревъ; тутъ же стояла дошата хыжа, прыткнута до сусидського баркану. Отсе й бувъ литній кабинетъ Ивана Максимовыча.

Проте-жъ, не дывлячысь на убожество сього садка, було въ йому такъ любо та супокійно, що я мимохить позавыдувавъ бидному Ивану Максимовычу.

Напывшысь чаю пидъ кушемъ бузыны, що саме цвила, Иванъ Максимовычъ повивъ мене до свого кабинета, посадовывъ на дошатій голій канапи й, выймаючи зъ шуфляды паперы, промовывъ:

— Теперь на самоти мы визьмемося за литературу. Отъ отси паперы, мовывъ винъ, видкладаючы на бикъ килькы дрибно пысаныхъ аркушивъ:—се ваши паперы. Памъятаете, вы просылы мене колысь збираты задля васъ усе, що дотыкається исторіи, філософіи та поезіи нашого народу. Отъ-тутъ йе потроху всього. Историични звисткы, що дотыкаються властво миста Прылуку, росповивъ мени небижчыкъ пан-отець Илля Бодяньскый, а инши я запысувавъ, де трапылось. А отсе вже чыста литература, казавъ винъ, розбираючы други паперы.

— Я опысую все, що скоилося зъ нашимъ горопашнымъ музыкою зъ того дня, якъ винъ выйихавъ до Петербурга, зъ його власныхъ сливъ: иноди тилькы прыкрашую складъ на зразокъ Марлынського. Божественный письменныкъ! Навить и назвысько даю на взирецъ незабутнього Марлынського, се-бъ-то—„Музыка або дви сыриткы“. Памъятаете Лизу та Наталю? Вони тежъ грають чымалу ролю.

— Дакъ зъ чого намъ початы? Мабуть винъ вамъ въ свому лысти опысавъ все, хочъ коротенько, ажъ до дня свого прыбуття до ридного села.

— Справди усе, окримъ своєї подорожи назадъ зъ столицы.

— Се-бъ то, простовання по етапахъ. Я такъ и думавъ, бо й чымало такы доложывъ праці, докы выпытавъ у його де-яки подробыци сієї, можна мовыты, мальовнычой подорожи.

И Иванъ Максимовычъ осмихнувся на свое го-
стре слово.

— Дакъ я й почну вамъ саме зъ подорожи: „Вже вечирній сонця проминь позолотывъ велычне та широке ложе рички Лугу (такъ почавъ чытаты Иванъ Максимовычъ), и колы мы перейшлы довгый, безкрай и рижнымы вавылонами на паляхъ збудованый мистъ черезъ Лугу, що ледве вызырала зъ очерету, то Фебъ свитодайный вже сховався за обріємъ у обіймы Фетиды. Позаякъ же въ полярныхъ краинахъ литни ночи бувають досыть ясни, то мы ще завядна вступылы въ мисто Лугу. Нась, певна ричъ, видпровадылы въ тюрягу...“

— Але-жь тутъ, знаете, картына не цикава, казавъ Иванъ Максимовычъ, черезъ те я ии не спысую. На мою думку белетрыстика не повинна торкатысь до картынь брудныхъ, хочъ се теперь, на превелькый жалъ, ричъ звычайна. Такъ я все-таки трымаюсь клясычного стылю; та й де вже намъ, старымъ, переробляты себе!...

Дакъ отъ воны (я вамъ оповидатыму самы подіи, а що до поезіи, то вже прочытано)... дакъ отъ воны другого дня выпросылы въ этапного командыра дозвиль, бо въ ихъ була „днивка“, а дотого й день святочный... выпросылы дозвиль (певна ричъ, давшы йому частыну заробитку) пройтысь по улыцяхъ зъ струменты й даты килька концертивъ.

Выгадка ихъ (не дывлячысь на те, що мисто Луга, можна мовыты, „нарочыто“ невеличке) досягла повного успиху, такъ що, не дывлячысь на те, що воны

выдидлы чымалу частку командирови этапа, имъ стало грошей ажъ до самого Порхова. Биля Порхова я описую (зъ його оповидання) довгу, тонку повышенность на подобу цыкльопычного валу, по якому тягнеться почтовый шляхъ майже до Порхова; потимъ самый Порховъ та величню Шелоню: на ии ливому берези стоять стародавни руины замку. На ихъ щастя, прыйшли вони до Порхова саме на зелени свята. Другого жъ дня пишли по улыцяхъ зъ музыкою, якъ и въ Лузи се робылы. Та Порхивъ—не Луга: тутъ ихъ заклады гывеныкамы. Одынъ прыкащыкъ якогось мыловарного заводу Жукова разомъ выкынувъ тры карбованци. Имъ такъ пощастыло въ Порхови, шо вони вже наймалы на кожному этапи конячку зъ возомъ задля своихъ струментивъ ажъ до Великыхъ Лукъ, а звидси у ихъ була вже й своя конячка, непоказна, правда, та все-жъ своя. Вони наблыжались до краины, шо разъ-у-разъ голодуе, се-бъ-то, до билои Руси; черезъ те окримъ струментивъ везлы за нумы й добрый запасъ печеного хлеба.

Сумни картыны доводылось йому бачыты въ сій краини убогий. Знаете, голодь, злыдарство, роспушта и скорботни сопутныкы ии—все отсе описую я въ тони научання. Отъ, напрыкладъ, колы вони проходылы, здається, черезъ Усвяты, дакъ замисть того, щобъ арештантамъ податы мчлостыню, натовпъ хлопцивъ зъ товстымы дрючкамы кынувсь на арештантивъ й ставъ просыты хлеба, а якъ побачылы, шо имъ давано хлеба, за хлопцямы кынулысь и дорослы й стари. Голодь

не зна сорому. Пройшовшы крайну горя та плачу, вони прийшли нарешти на нашу любу Украйну, а потимъ и въ нашу скромну Прылуку. Ввечери вже пылы мы чай зъ нашимъ любимъ музыкаю й по-приятельскы балакалы въ отсій самій альтанци. А теперь я вамъ ось що скажу... Выбачайте мени: я людына, знаете, на служби...

— Будьте ласкави, робить, якъ вамъ липше!—видповивъ я.

— Я отъ що зроблю, казавъ винъ. Я пиду не надовго до школы, а вы тымъ часомъ чытайте мій рукопись. Тутъ вы стринете де-кильки oryginalныхъ лыстывъ Тараса Федоровыча, де винъ малюе переважно становыще души воеи та инши обставыны домашни. Та знаете ще що? Я забижу на станцію та скажу, абы принесли сюды ваши пакункы, и мы зъ вами такъ и перекочуемо до недили, а въ недилю вкупи на хутирь. Вене?—додавъ винъ стыскаючы мою руку.

— *Benissime*,—промовивъ я, й мы розійшлись.

Рукопись, по правди кажу, лякавъ мене; зате лысты, що мистылыся въ ній, надто мене цикавылы, а черезъ те я й узявся до неи. Лысты повклеювано въ рукопись, а черезъ те мени не трудно було ихъ знайти. И першый лысть бувъ такого змисту:

„Я обещавъ вамъ, незабутній мій Иване Максимовичу, оповицаты васъ инколы якъ про себе самого, такъ и про те, що мене оточае. И отъ вже небавомъ настае третій рикъ, якъ я лежу въ ногахъ мого нового пана, а тилькы теперь згадавъ про обещанку, що давъ вамъ. Мое горе таке, що само себе годуе й не любить роз-

вагы. Простить мене, ласкавый Иване Максимовичу, за такой выразъ; та шо дѣяты?—се правда. Теперъ мени краще, о-стилькы краще, шо мени можна балакаты зъ вами. Шо се вы до насъ никола й не зазырнете? Отъ бы й набалакалысь! Прийиздить лышень та й дружыну вашу привезить. У насъ 23 квітня свято. Вы-жъ бо попереду такъ любылы гулянкы! Дякуючы тѣй любви, я спизнався й зъ антыкваріємъ, пам'ятаєте? Де то винъ теперъ, бидолаха! Напышитъ до мене, колы одержыте про його яку звистку. Учора повернувся зъ хутора; гостювавъ тамъ ажъ тры дни; опроче я тамъ никола меншъ двоухъ днівъ не гостюю. Отсе мое одно, йедые щастя! И по правди, вельке щастя! Видъ створення все-свиту, я певень, ни одному бидоласи не доводылось такъ загоюваты свои болячкы сердешни, якъ я ихъ загоюю мижъ отсими щырымы людьмы. А Наталя такъ мене полюбыла, шо, колы я выйизджу, вона гирко рыдае. И шо то за дивчына, шо за чудова дивчына! Въ такому зрости (й чотырнадцятый рикъ) скилькы глыбокого чуття й не дытынячого розуму! Вона закохалася въ музыци, та такъ закохалася, шо цилисиньки дни сыдыть за фортепяномъ, и, представте соби, вона й доси не видае, шо вона—сыротына. Правда, пры Маріяни Якимивни трудно про се й довидатысь йй, бо вона для неи бильше, якъ ридна маты. Зате-жъ и Наталя видячуе йй найщырійшою дитською любовью. А Антинъ Карловичъ прямо не тямьт, де й посадовыты свою Наталю. Представте соби, винъ задля несицилый день не выходыть зъ своеи лабораторіи, абы ввечери поти-

шыты Наталю якоюсь тамъ надзвычайною играшкою. Я вамъ оповидаю те, що вы сами недавно бачылы. Мени казалы, що вы самы недавно зъ дружною своею гостювалы въ ныхъ. Яка шкода, що я не видавъ, а то-бъ безпреминно видпросывся. Чудне, одначе, психольогичне завдання! Напрыкладъ: Лиза, якъ дви крапли воды похожа на Наталю, й я іи шо-дня бачу, та не можу любоваты зъ неи такъ, якъ люблю зъ Натали. Вона здається надто жвавою, бильшъ похожа на хлопця, ни до чого не горнеться, вчыться безъ охоты й музыкы не любить. Шо се значыть? Ихъ дытнныи викъ бувъ зовсимъ однаковый, а теперь така рижныця! Якъ вамъ видно, m-elle Адольфини того-жъ року видмовывъ Кленовський. И знаете за шо? Гыдкый сластолюбныкъ! Винъ не спромигся звесты іи до погыбели та й вынавъ зъ дому, назвавши пры всихъ распутныцею. Господь видае, де вона теперь? Добра, непорочна людына! Вы, знаете, що, дякуючы ій, я розумію французьку мову й теперь тилькы довидався про справжню іи цинну. Въ нашій библіотеци слыве сами французьки кныжки, хочъ по правди кажучы, переважно романы, та все-жъ краще се, якъ ничого. Такъ! m-elle Адольфина була конечно потрібною для Лизы. Безталанна дытына! Чому вона навчыться, що дистане гарного видъ своей выхователькы—темной, старои, гыдкои дивкы? Се вельмы шановка сеструня п. Кленовського. Вона виддилыла іи видъ товариства пансіонерокъ и перевела до себе,—и все отсе, я певень, на прыказъ братика. Огыдлыви люде! Лиза надзвычайно швыдко росте. П.

Кленовський пише, абы сього року сподивались його зъ-за граныци. Винъ ще торикъ выйхавъ браты купели черезъ якусь застарилу хоробу. А знаете лышень шо! Прыйиздить 26 Серпня на хутирѣ. Вы знаете, тоди Наталя йменынныця... Запевняю васъ, буде весело. Прыйиздить, я хочъ подывлюсь на васъ. На сей день я зберу килькы квартетивъ, се-бъ-то я зъ товаришамы моеи мандривкы. Гилькы не пробалакайтесь, колы прыйидете попереду насъ. Я хочю вчыныты се, яко сюрпрызъ. Антинъ Карловичъ готуе для неи ще иллюминацію та щытомъ зъ ии вензелемъ. Щыть буде поставлено помижъ кушамы, а за щытомъ прымостытыся нашъ квартетъ. Чы не правда, добре выгадано? Ще я выготовивъ для Натали сюрпрызъ; не знаю тилькы, чы вполдобається ий. За ноты я не боюсь: ноты я прямо друлюю, а отъ фронтопысь мене турбуе. Бачте бо, я перепысавъ на веленовому папери, якъ умивъ, серенаду Шубертову й оздобивъ заголовный аркушъ власнымы творами; я ихъ, правду кажучы, спысавъ зъ якогось никчемного романсу, та се ничого.

Прыйиздить 26 Серпня, Бога рады прыйиздить! Та тилькы беспремивно вкупи зъ дружыною.“

Ледве скинчывъ я сього третього лыста, якъ увидоходить до мене, захекавшысь, Иванъ Максимовичъ.

— Хай йому... такъ утомывся! Майже цилу дорогу бигъ: боюсь, чы не скучылы вы. Э, та вы чытасте, прочытуете! А шо, яково, га? Постаречи, правда? Складня, складня головна ричъ, а иньше само собою прыйде. Чы не такъ?

— Складня у васъ чудова!

-- За-стара вже трохи, чы що? Мы й самы вже стары, чы нѣ такъ хибѣ?

Я хыгнувъ головою на знакъ, що згоджуюсь, а винь, глянувши на рукопись, мовивъ:

— Дакъ вы пакъ на тому лысти зупынылысь?... Чытайте, чытайте дали.

— Та я вже скынчывъ лыста.

— Скинчылы?—И трохи промовчавшы, мовивъ:

— Эге! воно кинчається запросынамы мене на йменны Наталіи зъ моею незабутньою! И винь замовкъ и видвернувся.

— Музыка... иллюминація... Наталя,—приходячы до себе, говоривъ винь повагомъ.

— Эге, прегарно, урочысто, гарно було. Ни, мы краще прочытаемо: ся гулянка въ мене урочыстымъ стылемъ описана.

— Братику! Будьте ласкави—до обиду!—почувся голосъ сестрыци.

— А й справди, ходимъ краще пообидаймо, а вже потимъ прыйдемо та й прочытаемо.

И мы пишыли обидаты. Не скажу, чы то такый апетить, чы щыре вытаня, чы, може, прямо борщъ изъ сухымы карасямы (його такъ геніально варять мои землякы), не скажу, що саме спрычынылось,—знаю тилькы, що я найився ажъ надто, та ще й добре заснувъ по обиди. Пакункы мои прынесено зъ почтовой станціи, й я оселывся до недили въ альтанци прывитного господаря. За часъ його небутности прочытувавъ простосердечни лысты мого музыкы непорочного.

Другый лысть, якый додаю тутъ, бувъ пысанный
 бильшь, якъ черезъ два роки писля першого.

„Шан. Доб. Иване Максимовичу!

Въ остатньому лысти свому вы зновъ просыте,
 щобъ я запысувавъ зъ усть нашего народу все, якъ вы
 кажете, шо дотыкається його философіи, поэзии та
 исторіи. Дякую вамъ, шо нагадуєте мени про се. Се,
 значыть, шо ваше горе на половыну поменшало, колы
 вы нарешти згадали й нашего антыкваря й мене, ва-
 пшого друга шырого. Антыкваря нашего й я добре па-
 мъятаю, тилькы Богъ його видае, де винъ теперь пере-
 бувае; а я для його, чы, однаково, для васъ запысавъ сы-
 мы днямы чудову писню.

Йду отсе я самою велькою улыцею по селу й, по
 правди кажучы, йду до коршмы, абы посыдиты зъ доб-
 рымы людьмы на прызби: чы не почую часомъ чого
 путяшого? Дакъ ото йду й бачу—посередь самои улы-
 ци телипається пьяна баба и, выдко, не бидна. Йде й
 на все горло выпивуе, поглядаючы на хаты:

„Упылася я,

Не за ваше я:

Въ мене курка неслася.

Я за яйца выпылася!..

Хиба-жъ отсе не философія? Хиба-жъ отсе не
 поэзия? Мени хотилося зробыты варіяци на сю тему—
 та ба! Музыка не зможе выявыты сього велького сар-
 казму...

Вы теперь, якъ знаты зъ вашого лыста, трохы
 заспокоилися писля вашои згубы безцинної. Быте лы-

хомъ объ землю, якъ швецъ мокрою халявою объ лавку, та прыйиздить у недилю на хутирѣ. А я прыйиду туды зъ віолончелею й гратыму вамъ цилый день и все саме ваши кохани писни вкраїнськи.

Я, здається, ще не пысавъ до васъ про віолончелю? Чудовый, дывный струментъ! И я не розумію, де винъ його добувъ за такую невельчку цину! Торикъ нашъ Кленовськый, вже выдужавшы, вернувь зъ-за границы й мижъ иншымы дывовыжнымы играшкамы привизъ и віолончелю. Боже-свите? що то за играшка! Тилькы одной души людськый можна такъ плакаты й такъ радиты, якъ спивае та плаче сей дывовыжный струментъ!

Майстеръ, що зробывъ його, бувъ ниhto иншьй, якъ самъ Прометей. Я спаты лягаю й кладу його била себе. Се моя коханка, мое жыття, мое „я“. И колы бъ я бувъ двичи рабомъ, то за сей струментъ запродавъ бы себе въ-трете. О, я зовсимъ теперъ забуду Серве! А якъ бы вы бачылы, що діеться зъ Наталею, колы я заграю на симъ струменти божественнымъ?

Вона умливае й бильшь ничего.

А Маріяна Якимивна запевняе мене, що на скрыпци я краще граю, якъ на віолончели.

Та се вона тилькы такъ говорыть: вона сама байдужо не може слухаты віолончели.

Розносывся одначе я зъ сією віолончелею, наче дурень зъ пысаною торбою, а про головне трохи не забуду. Передчуття мои справдылыся: Кленовськый що ледве оживъ, вже залыцяеться до Лизы власною персоною. Выдыма ричъ, пыльнування любои сестрыци пышло марно!..

Лиза й знаты ничого не хоче. Бигае по залахъ, бѣе горшыкы зъ квиткамы, ламае дзыглыкы—суца дытына! А дытны сій майже 17 рокивъ. Одно тилькы мене розважае: колы не помыляюся, мени здається, що колы Кленовському й пощастыть, дакъ се йому не дешево стане. Мени, прынаймни, не доводилось ще зустричаты дивчыну такого вику зъ такымы пышнымы формамы. Се справжня женщына. Сестрыця Кленовского не зна, що й казаты проты іи выхватокъ. Шо-жъ якъ бы хочъ яку-небудь освіту сій дивчынни? Се-бъ була суца Семирамида або Клеопатра. Сыдять вони разъ, мисяць тому назадъ, уси трое за обидомъ мовчки й тилькы pozyрають одно на одного зъ-пидъ лоба. Страву давалы тилькы для формы, ниhto до неи й не доторкався. А я знечевья, стоячы за стильцемъ Лизы, ставъ прыглядатысь до лыця Кленовского. Руина! Зовсимъ руина! Винъ не старый ще, та выпередывъ навить спорохнылыхъ. Видвысли губы, що ледве ступляються, на пивъ расплющени очи безбарвни, жовто-зелене лыце й до того сыве риденке волосся та глухота роблять зъ його шось огыдлыве, шось на сынама похоже.

Пообидалы. Лиза, выходячы зъ-за столу, заплакала и, звертаючысь до П. Кленовского, мовыла:

— Скажыть коней запрягты, а не то пышкы пиду до Антона Карловыча.

Буде лыхо! подумавъ я й не помыльвися. Черезъ килькы днивъ челядь нышкомъ загомонила про шлюбъ пана зъ Лызаветою Федоривною, а ще черезъ килькы

днівъ почали балакаты вже й про подробности. Тымъ часомъ зъ Прылуки прыйхавъ адвокатъ п. Кленовського, И. П. Ермолинъ, пробувъ у нихъ два дни й выйхавъ такъ, що його майже никто й не бачывъ.

Се те-жъ щось та значыть.

Не мынуло й мисяця пияся сіеи подіи, колы се сеструня Кленовського заметушылась, забигала, всю челядь збаламутыла й загадала своимъ благороднымъ годованкамъ прыготовуваты найкрашу пьесу на весилля.

На весилля? подумавъ я. Се-бъ то мижъ Лизою та Кленовськымъ се ричъ можлыва?

Чудно! Я другого жъ дня йиздывъ на хутирь и росповивъ про все, що бачывъ та чувъ.

Антинъ Карловычъ мовывъ: „добре“, а Маріяна Якимивна тилькы головою хытнула.

Весилля видбулося тыхо; гостей багато не зибралось; булы тилькы найблыжчи сусиды.

Въ театри тежъ не булы. Хотилы булы даты концертъ, та тежъ видложиы до завтрыого.

Мынуло й завтра безъ усякыхъ прыгодъ, а пияся завтра Кленовський звеливъ лаштуваты экипажъ, людей та коней на подорожъ до Кыива. Вся отся подія здається неймовирною, фантастычною, якъ и самому мени вона здалась. Та згадайте, що Лиза выросла пидъ непосреднымъ доглядомъ старои дивкы распутной... Згадаете отсе, й незвычайный шлюбъ Лизы робыться найзвычайнйшымъ. Сумно тилькы дывтысь на сю любу дивчыну, такъ неполюдському морально зопсовану: у неи не знаты й тини тіеи янгольської ваблы-

вості, що такъ лычыть іі вику. Выхователька одначе помылылась въ своихъ рахункахъ. Вона мала на мети попсоваты Лизу такъ, абы вона згодылась одружытысь зъ іі огыдльвымъ братикомъ; се іі пощастыло. Але головна ричь—іі остогыдъ братикъ изъ своимъ самовольствомъ и іі треба було знивечыты сю власть; вона й знивечыла: се-бъ-то вона зробыла Лизу повною, незалежною дидычкою цилого маетку, що належавъ ранійшь Кленовському. На те й прыйиздывъ адвокатъ зъ Прылуки. Ричь въ тимъ, що Лиза, зробывшысь дидычкою, не подилылась зъ своею вчытелькою ни владою, ни добромъ, а зробыла іі въ себе кляшныцею.

Отакъ оборудовавшы изъ своею любою выхователькою, всна дала управытелеви повну власть надъ господою й усимъ маеткомъ, потимъ взяла свого спорохнилого чоловика та й пойихала до Кыива, нибы то личытыся минеральнымы водамы. Въ господи все було такъ, якъ и попереду. Господыня обищала провести зиму въ маеткахъ, а до зими, такимъ робомъ, мени не було що робыты въ господи; и я, корыстуючысь зъ сіеи доброи нагоды, видпросывся въ управытеля місяцивъ на два въ Д., се-бъ-то, на хутирь. И отъ уже третій день граю я Моцартови сонаты въ хатци Маріяны Якымивны на свой вiолончели.

Якъ мени тепло, якъ гарно зъ сымы любымы другамы моимы! Наталя шо-дня стае кращюю та мылійшою. Що за розумныця, що за скромныця!

Вона, знаете, хоче буты зо мною на этикетѣ, поводытыся, якъ лычыть дорослій дивчыни, та ніякъ не

зможе; пишається, пишається, потимъ раптомъ схопыть зъ мене брыля, побижыть та й сховається въ куцахъ. Я шукаю їй, а вона перебігає видъ куща до куща, помы втомиться, а потимъ піде скаржытысь до Маріаны Якимивны, нібы я не даю їй спокою, нібы їй на мого брыля соломьяного не можна безъ реготу й дывытысь. Люба, прекрасна дивчына! Дывлячысь на неї, я почуваю себе иноди вышымъ надъ людыну, такую шаслывою безъ краю истотою, якою людына никола быты не може... Зъ де-якого часу я помічаю, що вона починає замислюватись и майже плаче, якъ граю їй улюблену серенаду Шубертову.

Маріяна Якимивна каже, щобъ Антинъ Карловичъ поїхавъ зъ Наталею на зиму до Кыива. Та Антинъ Карловичъ уперто мовчыть, тилькы головою хытає. Отъ якось Маріяна Якимивна мовыла: „Ну колы не до Кыива, дакъ хочъ у Кленивку, до Лизы“.

Та винъ такъ на неї подывывся, що зъ того часу й не згадують про Лизу. Я зовсімъ розумію й оправдую думку Маріаны Якимивны, та ніякъ не зможу байдужно уявты собі Наталею поміжъ чужымы людмы: мени стає за неї страшно.

Вона така жвава, перенятлыва и вже їй симнадцять рокивъ. Велькы небезпечности можуть спиткаты їй въ будуччыни.

Отъ ще що мене чымало здывувало. Якъ я розсповидавъ зъ подробыцями про весилля Лизы, Наталя байдужно дослухала мое оповидання й промовыла:

— Безталанна вона!—й залылась слизьмы.

Невже вона въ такимъ вици такъ глыбоко заглянула й зрозумила, де воно те шастя?

Я завтра пойду въ Кленівку за партытурою Мендельсоновою „Сонъ на Ивана Купала“. Наталя ще не чула иі. Я положу для неі сю чудову симфонію на фортепянь та на басъ.

Прыйздить колы въ свято й вы послухайте; а тымъ часъ напышитъ про себе хочъ два слова зъ нашымъ посланцемъ, напышитъ хочъ те тилькы, що вы одержали мое „посланіе.“

Прыхыльный до Васъ вашъ—Музыка.

Видь лыста зосталось пивъ аркуша чыстого паперу; на йому рукою Ивана Максимовыча додано було: „29 червня, на Петра й Павла йиздывъ я въ гости на хутирь и гостювавъ два дни зъ велькою радистью. Виолончеля та фортепянь—се така гармонія божественна, шо викъ бы слухавъ и не наслухався, особльво, колы вони въ-двохъ грають сю серенаду чудову.

Проте я думаю, й не безъ основы, шо окримъ гармоніи згукивъ мижъ ными истнуе найвыща гармонія найнижнійшыхъ почувань. Мени навить про се сама Маріяна Якимивна натякнула, якъ вони гралы серенаду. Вона звернулась до мене, показуючы очыма на музыкивъ, и шепнула: „Чы не правда, парочка? Якои вы думкы?“ Певна ричъ, я хытнувъ головою, шо згоджуюсь.

У-друге, якъ мы гулялы въ саду, и вони въ-двохъ йшли по-передъ насъ та про шось тыхо роз-

мовлялы, Антинъ Карловичъ, дывлячысь на ихъ, промовывъ наче самъ до себе:

— Шобъ тамъ не було, а я добуду йому волю.

Благородне чуття!—подумавъ я. Се значыть, шо людына стоить выще всякыхъ забобонивъ... Часть бы всимъ такъ думаты й почуваты. Овва! гордоши опанувалы намы. А яки бъ воны були щаслывы! А бъ шо дня йиздывъ на хутирь, абы полюбуваты зъ ихъ щастя. Я не бачу тутъ ничего неможлывого; все залежатыме видъ Антона Карловича, а сумниватись въ шырому спочутти сіей людыны благородной—те саме, шо не вирыты въ Бога. Почекаемо! Побачымо!“

За лыстомъ слидуе оповидання власного твору Ивана Максимовича, де йдуть балачкы въ тому жъ такы филиантропычному тони, та тилькы тутъ складня велычня, оброблена,—така складня, шо я ледви прочытавъ пивъ аркуша. Сушый Марлынський. Земля йому перомъ!

Перегорнувшы килькы картокъ красномовного рукопысу, знайшовъ я ще одынъ лыстъ музыкы, шо бувъ напысанный черезъ рикъ писля попереднього. Лыстъ починався такъ:

Незабутный Иване Максимовичу!

Я такый щаслывый, такый безъ краю щаслывый, шо ледве чы зможу пысаты до васъ, а пысаты треба, бо щастя залушыть мене, колы я не высловлюся. Але видкы жъ вамъ початы? Дайте опамъятатись. Та почну зъ того, шо торичной осени повернувся зъ Кыива, Кленовський зовсимъ хорый и безъ дружыны. Лыза-

вета Федоривна покинула його въ Къиви, на сестрыцнъ доглядъ, а сама помандрувала зъ якимсь гусаромъ на маневры до Вознесенського та й не верталась. Вже зъ заграници (здається зъ Видня) напысала до управителя лыста, абы той всю челядь та музыкивъ пустывъ „на оброкъ“—хто бажае, а решту повернувъ до хлиборобства; благороднымъ выхованкамъ давъ бы по тысячи карбованцивъ та й тежъ пустывъ, а двирськыхъ дивчатъ повывадавъ бы замижъ хочъ бы за салдатовъ, надилывшы кожну по сотни карбованцивъ на вино; П. Кленовському жъ та сестри його выдавъ бы по сотни карбованцивъ що-мисяця, та й бильшь ничого! Шкода й заразомъ гыдко було дывытись на того знивеченого распутныка, якъ винъ дывывся на зборы въ дорогу своихъ выхованокъ и не мигъ спыныты сихъ зборивъ. Йому не хотилось попрощатись зъ своимы жертвамы, и винъ плакавъ знесыленный. Винъ пишовъ бувъ до ихъ у „флигель“ попрощатись зъ нумы, та воны замкнулы въ його передъ носомъ двери. Гарна подяка! Лызавета Федоривна може й не свидомо, але зовсимъ справедливо й достойно скарала його. Въ души я ий вдячный. За одну Тарасевичивну бидолашну слидъ бы його зробыты каторжнымъ. Якъ колы совисть його прокынетсья, вона замордуе його гирше усякого ката. Тилькы я не йму виры, щобъ у його зопсованому серци була совисть.

Оркестру нашу слыве всю пущено на „оброкъ“, й вона помандрувала до Кыва. Обралы булы мене за капельмейстра, та я на-одрубъ видмовывся й выпро-

сывъ собі въ управителя мисце лисныка въ Д. Служба ся саме прыйшла мени до смаку: вештаюсь собі цилисенькый день по гаю, наче роблю дило, ввечери—на хутирь. Віолончеля зосталась пры мени. Слухачи мои—найщырійши слухачи, и я прямо раюю. Якъ бы ще до сього колышня жвависть та безтурботнисть Натали, такъ я бувъ бы зовсимъ щасливый. А то вона чогось така сумна ходыть, шо я не резумію, шо й діяты. Маріяна Якимивна тежъ наче зминылась, тежъ чогось замыслюється, иноди й сумуе. Самъ тилькы Антинъ Карловычъ, якъ и попереду, мовчыть та добросердно всмихається. Шо до мене, такъ вони вси, якъ и попереду, ласкави, тилькы нибы щось ховають.

Мене жъ се мучыть, й я иноди цили дни хожу по гаю та плачу, самъ не знаю зъ чого...

Назадъ тому килькы днівъ Антинъ Карловычъ йиздывъ до нашого управителя й вернувся незвычайно веселымъ,—такымъ веселымъ, шо примусывъ мене зъ Наталею граты „Горлицю,“ а самъ трохы не пишовъ у танець. Тымъ часомъ ни до кого а-ни слова, черезъ шо винъ такъ радіе...

Черезъ тыждень писля сіеи радости, Антинъ Карловычъ, не кажучы никому а-ни слова, зновъ пойхавъ до управителя, а надъ вечирь того-жъ такы дня прыславъ запыску, щобъ його не сподивалыся вечеряты, бо винъ зъ управителемъ пойхавъ у Полтаву. Мн, певна ричъ, здывувалыся й хвылынъ зъ п'ять не могли промовыты а-ни слова, тилькы дывылысь одно на одного; нарешти первою озвалася Маріяна Якимивна.

— Що жъ оце винъ зо мною зробувъ? Отъ ужъ тридцять литъ, слава Богови, мы зъ нимъ не розлучалыся а-ни на день єдиный, а тутъ... узявъ та й поїхавъ; хочъ бы жъ бувъ слово промовувъ. Отъ до чого я дожыла, безталанна!—И трохи помовчавшы, вона тыхо заплакала. Наталя те-жъ и, взявшысь за руки, вони пишли до покоивъ.

Я, наче вкопаний, лышывся на мисци й довго бы такъ простоявъ, якъ бы Наталя не поклыкала мене до покоивъ.

Писля довгыхъ розмовъ та гадокъ, нащо та до чого, можна мовыты, крадькома поїхавъ Антинъ Карловычъ у Полтаву, я наважывся заразъ же поїхаты въ Кленивку й довидатысь добре про все на мисци, а щобъ имъ не було страшно безъ мущынъ, я сходявъ до млына й попросывъ старого мирошныка на хутирь, яко сторожа та оповидача. (Наталя вельмы любыла слухаты його стари казкы та прыказкы). До свита вернувся я на хутирь зъ Кленивкы, ни про що не довидавшысь. Конторськи пысари, корыстующысь зъ видсутности управытеля, понапывалысь горилкы й на мое пытання видповидалы: „Выйихалы въ Полтаву!“ та й бильшь ничего. Наталя заснула, а Маріяна Якимивна ждала мого повороту билия ворить садовыхъ и, зустрившы мене, пидбигла до мене зъ пытаннямъ: „Що?“ Я, хочъ и гирко мени було, видповивъ їй, що въ Кленивци ниhto ничего не видае.

— Ходить же въ його хату та видпочыньте зь до-
рогы,—мовыла вона до мене й, затулывшы руками свій
выдъ, такъ пишла до будынку.

„Бидолашна молодыця!—подумавъ я, дывлячысь ій
у слидъ: невже такъ мицно здружылася ты зь нымъ,
що не можна тобі й одного дня прожыты безъ його?
Щаслыва, завидна твоя доля, и багато-багато жинокъ
мають право завыдуваты тобі. А тобі ще бильшъ,
щаслывый старый, мусять завыдуваты чоловикы-бидо-
лахы!“

Мынувъ день, другый, нарешти й третій, а про
Антина Карловыча а-ни слуху, ни духу.

На хутори все такъ затыхло й занудылось, що я
боявся й подуматы про музыку.

Маріяна Якимивна вси дни ходыла взадъ та впе-
редъ однією дорижкою и тилькы мовчкы зитхала, а за
нею й Наталя.

Здавалось, що мы вже на вики попрощалысь зь
нашымъ Антиномъ Карловычемъ. Въ день Маріяна
Якимивна часто заходыла въ його хатку, чого ранійшъ
николы не було, змитала хусткою порохъ зь электрыч-
ной машыны та иншыхъ ричей, сидала на кушетку й
плакала; одно слово, вона скидалась на найнижнійшу
коханку. За ти дни я тилькы й чувъ видъ неи, та й
то вона говорыла наче сама до себе:

— Ну, чы чувано жъ на свити таке лыхо? Пойиха-
ты такъ далеко й не промовыты до жинкы а-ни слова?
Ой я безталанна!

Не скоро мыналы дни, а вечоры тяглыся аж надто; и 26 серпня швидко наблыжалось. Попереду я думавъ про сюрпрызы для Натали, та пиясля сього случаю я такъ збентеживсь, що зовсимъ про все забудь.

Ще разъ йиздывъ я въ Кленивку и хотивъ бувъ пойихаты ажъ у Прылуку до повиреного Лызаветы Федоровны, та мени сказали въ Кленивци, що й винъ пойихавъ укупи зъ нумы.

Отъ уже й 25 серпня, а на хутори наче ничего й не бувало: а-ни якого руху; про завтришне свято нема й згадки.

Я згадавъ про мисячну рожу въ Д. въ оранжереи, яку вже давно выпросывъ у садовныка на день Наталиного янгола, и, ни до кого не промовывшы слова, пишки почымчыкувавъ я въ Д. Вертався я зъ квиткою на хутирь вже ввечери. И уявить соби мои радоши! Антинъ Карловычъ сядивъ за столомъ по-мижъ Маріяною Якимивною та Наталею й своимъ звываемъ всмихався, пьючы чай.

— А, й вы прыйшлы!—мовывъ винъ, побачывшы мене.—Сидайте лышень, я вамъ росповимъ, що бачывъ я въ Полтави.

Я сивъ—и килькы хвылынъ тяглось мовчанья.

— Ну, кажы, ледащо,—промывла Маріяна Якимивна, шо ты бачывъ у своій Полтави нуднй.

— А шо я тамъ бачывъ? грязюка та й бильшь ничего!

— А шо-жъ ты тамъ мавъ роботы стилькы часу?

— Тежъ ничего!

— На вищо жъ ты йиздывъ туды, витрогоне ты старый?

— Такъ, прогулятыся!

— Такъ, прогулятыся! Чы чуєте, люде добри: такъ, прогулятыся! Ахъ ты, сыва, стара голова! И се тоби не соромъ мордоваты мене на старости-литяхъ!

И Маріяна Якимивна поцилувала його такъ нижно, такъ просто, сердешно, якъ цилує найнижнійша маты свою любу дытыну.

Вечиръ мынувъ тыхо та весело.

Другого дня вси прокынулись рано, а Антинъ Карловычъ ранійшъ за всіхъ. Розбудывшы мене, винъ мовывъ:

— А шо, чы прыготувавъ ты шо для йменынныци?

— Прыготувавъ,—видповивъ я.

— Ну, дакъ уставай лышень, убрайся, та пидемъ поздоровляты; вона вже бигає по саду.

Я вмывся на швыдку руку, вбрався и, взявши свою рожу, пишовъ до будынку слидкомъ за Антономъ Карловычемъ. Наталя, побачывшы насъ, побигла до покоивъ. Мы ввійшли слидкомъ за нею, а вона вже сыдила за чайнымъ столомъ, наче ничего не видаючи, била Маріяны Якимивны й просыла сухаря до чаю.

Я поздоровывъ ии й пиднисъ свій скромный дарунокъ. Антинъ Карловычъ тежъ поздоровывъ и, вытягшы зъ боковой кышени на-четверо зложеный папиръ, подавъ його Натали, промовывшы:

— Отсе тоби гостынець зъ Полтавы.

Промовывшы се, винъ, усмихаючысь, сивъ биля неи. Наталя довго мовчки читала той папиръ й, не дочытавшы, упустила його зъ рукъ и кинулась плачучы обниматы та цилуваты Антона Карловыча, а мы зъ Маріяною Якимивною, дывуючысь, поглядали одно на одного. Нарешти я пиднявъ папиръ, подывывся на його,—то була моя „отпускная!“

Все, що казавъ бы я вамъ про свои вчуття въ сю хвылыну вельчню, все бъ отсе й трохы не було похоже на те, що я почувавъ.

— Виолончеля тежъ наша!—мовывъ всмихаючысь Антинъ Карловычъ.

Я впавъ передъ нымъ навколишки й цилувавъ його руки, облываючысь слизмы.

— Ну, Наталко, теперъ твоя черга,—кажы!—мовывъ Антинъ Карловычъ, звертаючысь до Натали.—Визьми отсей папиръ та виддай нашому другуви й скажы: отсе тобі мое вино. А мы зъ Маріяною Якимивною скажемо: „Боже васъ благословы!“

Вси четверо кинулись мы одно до другого й облылыся слизмы.

И отъ бильше тыжня, якъ мое щастя не дае мени спаты. И знаете, хто все отсе вчынивъ? Наталя, моя люба, моя безцинна Наталя! Вона зреклася знатныхъ та багатыхъ, а обрала мене, крипака-музыку... и, прызнавшысь по правди своимъ щырымъ добродіямъ, просыла ихъ дияты зъ нею, що хочуть. А добрый, мовчазный Антинъ Карловычъ, не довго думачы й не кажучы никому ни слова, зробывъ по свойому, за однимъ

заходомъ. Винъ заплативъ за мою волю зъ віолончелю 2500 карбованцивъ. Якъ бы Кленивський бувъ моимъ паномъ, сього бъ николи не сталося! Спасыби тобі, Лызавето Федоривно! Тоби й не сныться, шо ты невынна прычына мого раювання теперишнього...

Саме теперъ Антинъ Карловичъ хлопоче, абы видаты мене до канцеляріи маршалка шляхетства,—се вже я й самъ не знаю на шо,—а колы се станеться, тоди мы зъ вами будемо бачытысь прынаймни трычи на тыждень. А покы шо, прыйздить у недилку на хутиръ и полюбуйте зъ людей, зовсимъ шаслывыхъ.

Прыхыльный до васъ—Музыка.

Дочытавшы сього лыста, шо напысало його саме шастя, мене огорнула якась хорогыта задума. Боже свите! Невже то булы заздроси? Ни, я не завыдувавъ никому въ свити! То було гирке, невыразно гирке чуття самотности. Я трохы не заплакавъ зъ внутришнього болю.

Тымъ часомъ, колы я збирався рюмсаты, увійшовъ до мене Иванъ Максимовичъ и спытавъ:

— А шо, чы далеко вже прочытали мое немудре оповидання?

— Все прочытавъ,—видповивъ я.

— Й описання весилля?

— Ни, не чытавъ.

— То прочытайте, безпреминно прочытайте, бо я, можна мовыты, найбильше сподиваюсь на эффектъ сього вельчнього малюнку.

— А скажить, Иване Максимовичу, чы стари ще жыви?

— Здоровисеньки, а про шастя нема чого й казаты? А якъ бы вы бачылы, що то за внуку давъ имъ Богъ! Сущый янголъ Божый!

Я зновъ замыслывся.

— А знаете лышень що, Иване Максимовичу?—спытавъ я його черезъ хвыльну.

— А що?

— Пустить мене завтра самого на хутиръ, а вы въ недилу прыйиздить.

— Ни за що! А колы вже вамъ такъ схотилось, дакъ и я зъ вами завтра пойиду. Та чого се вамъ такъ раптомъ?..

— Така вже въ мене вдача: я дуже люблю дывытсь на шасльвыхъ людей, и, на мою думку, нема ничого крашого, любійшого, якъ постать шасльвои людыны.

— Се суша правда.

Другого дня мы булы на хутори, и я бачывъ и бувъ шасльвий шастямъ сыхъ простосердыхъ шырыхъ людей. Бачывъ и свидчу правду сього оповидання неложного.

15 сичня, року Божого 1857.

КНЯГІНЯ.

Повість присвячена авторомъ Б. Ф. Залиському.

Село!... Ба! килькы спомынокъ любыхъ та чаривныхъ розбуджується въ моему старому серци зъ отсього душевного слова!... Село!... и отъ передъ мене стоить убога наша хата стара, била зъ чорнымъ дымаремъ; соломъяна крыша на ній потемнила... Биля хаты на прычилку яблуня зъ краснобокымы яблукамы; округъ яблуні—квитныкъ, коханецъ сестры моеи незабутньою—моеи нянькы терпелывои, нижнои; биля ворить стоить розлога верба стара зъ сухымъ верхомъ; а за вербою клуня; округъ клуни (стодолы) стогы жыта, пшеници и всякого збижжя, за клунею по косогору пиде вже садъ, та якый садъ!... Бачывъ я на своимъ вику чымало такы добрячихъ садивъ, отъ хочъ бы въ Умани, въ Петергофи, але що то за сады!... шага мидного не вартъ, якъ прыривняешъ до нашего прегарного саду! Нашъ густый, тыхый, темный... що й казаты! Другого саду такого нема по цилому свиту!... За садомъ лежить левада, за левадою дольна, а въ долини тыхый поточокъ ледви-ледви джурчыть; вербы та калына оточылы його, а темнозеленый лопухъ шыроколыстыи об-

кутавъ його... Въ отьому поточку пидь навислымъ лопухомъ купається биявый опецьковатый хлопчыкъ; выкупавшысь, пробигае винъ черезъ долину та черезъ леваду, вбигае въ тиньстый садъ, впаде пидь першою грушею або яблонею и засне сномъ суще спокійнымъ. Проснувшысь, винъ дывыться на гору супроты його,— дывыться, дывыться и самъ себе пытається: А що тамъ за горою? Тамъ повинни быты стовпы зализни, що пидпирають небо. Отъ колы бь питы туды та подывытысь, якъ тамъ воны його пидпирають? Пиду та подывлюся. Ажъ воно не далеко.

Вставъ и, не миркуючы, пишовъ винъ черезъ долину, черезъ леваду прямо на гору. И отъ выходыть винъ за село, мынувъ царыну, перейшовъ зь пивъ версты полемъ, а на поли стоить висока чорна могила; винъ вылизъ на могылу, щобъ звидтила подывытыся, чы далеко ще до тыхъ стовпивъ зализныхъ. Стоить хлопецъ на могыли та дывыться навкругы: и по сей бикъ село, и по той бикъ село, и тамъ изъ-за темныхъ садивъ вызырае церква зь трьома банямы, укрыта билою бляхою, и тутъ тежъ вызырае церква изъ-за темныхъ садивъ и тежъ покрыта билою бляхою. Хлопецъ загадався.

Ни! гадае винъ, сьогоня вже за-пизно! Не дійду вже я до тыхъ стовпивъ зализныхъ! Нехай вже завтра у-купи зь Катрею. Вона пожене коривъ до череды, а я пиду до зализныхъ стовпивъ. О, сьогоня одурю Мыкыту (брата), скажу, що бачывъ зализни стовпы ти, що пидпирають небо.

Винь скотывся, немовъ те барыльце, зъ могылы, ставъ на ноги и пишовъ не озыраючысь до чужого села. На таланъ його зустрилысь йому чумаки и зупынившысь спыталы:

— А куды ты, парубче, мандруешъ?

— До-дому!

— А де жъ твоя дома, небораче?

— Въ Кырыливци!

— Такъ чога жъ ты идешъ до Морынець?

— Я не до Морынець, а до Кырыливки йду!

— А колы до Кырыливки, такъ сидай, товаришу, до мене на мажу! Мы и доведемо тебе до дому.

Посадовылы його на скрынку, шо буvas на передку у чумацькому вози, и дала йому въ руки батигъ; поганяе винь соби воливъ, та й байдуже. Пидъйизжаючы до села, побачывъ винь на супротивній горі свою хату и весело гукнувъ:

— Онде, онде наша хата!

— А колы ты вже бачышь свою хату, мовывъ хозяинъ воза, такъ и йды соби зъ Богомъ!

Винь знявъ хлопця зъ воза, постановывъ його на землю и, обернувшысь до товаришивъ, мовывъ:

— Нехай иде соби зъ Богомъ.

— Нехай иде соби зъ Богомъ,—промовылы чумаки. И хлопецъ побигъ соби зъ Богомъ въ село.

На двори вже смеркалося, колы я (бо отсей опецькуватый билиявий хлопецъ бувъ ништо бильшь, якъ смиренный авторъ отьшого хоча и не сентиментального, але журлывого оповидання) пидійшовъ до нашего перелазу; дывлюся черезъ перелазъ на двиръ,

а тамъ пидъ хатою на темнозеленому оксамытовому шпорыши уси наши сыдятъ соби кружкомъ та вечеряють; тилькы Катерына, сестра моя старша и нянька, не вечеряе, а стоить соби биля дверей, пидперла голову рукою и нибы позырае на перелазъ.

Якъ высунувъ я голову зъ-за перелазу, вона гукнула: „Прыйшовъ! прыйшовъ!“ пидбигла до мене, ухопыла мене на руки, понесла черезъ двиръ и посадовыла вечеряты, промовывшы: „Сидай вечеряты, прыблудо“. По вечери сестра повела мене спаты, положила на постиль, перехрестыла, поцилувала и усмихаючысь зновъ назвала мене прыблудою.

Я довго не мигъ заснуты: подіи мынулого дня не давали мени спаты. Я все гадавъ про зализни стовпы та про те, чы казаты про ныхъ Катерыни и Мыкыти, чы не казаты?

Мыкыта, гадаю соби, разъ бувъ зъ батькомъ въ Одеси и вже жъ тамъ бачывъ винъ оти стовпы, якъ же я йому казатыму про ныхъ, колы я ихъ зовсимъ не бачывъ. Катерыну можна бь одурыты... та ни, не скажу йъ ничего; и, погадавшы ще килькы про зализни стовпы, я заснувъ.

За два, чы за тры роки я бачу себе вже въ школи, у слипого Совгиря (се такъ звали нашего нестыхарного дяка) складую тму-мну. Проскладавшы бувало до тля-мля, выйду зъ школы на ульцю, подывлюся на яръ, а тамъ мои ровесныкы шаслыви граються соби на соломи биля клуни и не видають, що йе на свити и дякъ и школа. Дывлюся на ихъ та думаю:

чому жъ я такой безталанный? На що мене сердешного мучать надъ отсымъ клятымъ букваремъ?

И, махнувши рукою, дамъ драла черезъ цвынтарь въ яръ до отсыхъ шаслывыхъ на ясну, теплу солому; тилькы що почну тамъ вовтузыгысь по соломи, якъось идуть два псалтырныкы, берутъ мене, раба Божого, пидъ плечи и вертають назадъ, сирычъ до школы..

А въ школи, самы здорови знаете, що роблять зъ нашимъ братомъ школяремъ за втикання.

Слипый Совгирь (суще винъ не бувъ слипымъ, а такъ його прозвали за те тилькы, що бувъ зызоокый) бувъ у нашому сели дякомъ не то, щобъ стыхарнымъ, справжнимъ, а такъ соби прыблудю. Його попередныкъ, Нычпыирь Храма, тежъ бувъ у насъ нестыхарнымъ дякомъ; разъ якъось у тытаря на меду винъ занедужавъ у-ночи та до ранку, Богъ його знае черезъ що, и вмеръ. Тоди саме бувъ на меду и слипый Совгирь; отъ винъ, не довго думаючи, якъ прыйшла недия, ставъ на крылоси, проспивавъ службу Божу, прочытавъ апостола, та такъ прочытавъ, що громада и самъ отецъ Касьянъ тилькы дывылыся одынь на одного та й бильшь ничего. Писля службы громада заразъ нарекла слипого Совгира дякомъ и зъ шанобою, яка належала його сану, ввела його въ школу, яко въ його дидивщину. Громада великый чоловікъ!...

Поселывся дякъ въ свой школи, а школяри, мижъ нумы и азъ невеличкый, пишлы до його за наукою. Зъ себе Совгирь бувъ великого зросту, широкоплечый и вдававъ бы зъ себе сущого запорожця, колы

бъ не бувъ зызоокымъ. Свою не заплетену косу винъ навить носывъ якось такъ, будимъ то не коса, а чупрына.

Вдача його була бильше сувора, нижъ рахманна, а що до видносинъ потребъ жыття и взагали що до комфорту бувъ винъ сушымъ спартанцемъ. Мени найбильше не подобалося те, що, якъ прыйде було субота, винъ писля вечерни и почне насъ усихъ звычайно годуваты березовою кашою. Та се бъ ще байдуже, нехай бы соби годувавъ: намъ ся каша була за звычай; а отъ де бувъ справжній спытокъ: бье, бывало, та й крычаты не дае, самому велыть лежаты та „не борзяся“ выразно чытаты четверту заповидь. Спартанецъ та й годи! Скажить же люде добри, чы бувъ колы на свити такый велетень, щобъ спокійно лежавъ пидъ ризкамы та ще „не борзяся“ чытавъ четверту заповидь? Ни, я гадаю, що такои людны земля ще не носыла! Колы, було, дйде черга до мене, то я вже не благаю помылування, а прошу тилькы, щобъ винъ рады суботы святой змылосердывся та звеливъ хочъ трошкы прыдержаты.

Инколы, було, й змылосердыться и звелыть прыдержаты та вже жъ такъ выхворостыть, що липше бъ було й не просыты у його мылосердя.

Мыръ праху твоему, слипый Совгиру! Ты, небо-раче, самъ не тямывъ, що чынывъ. Тебе такъ быто и ты такъ бывъ, та въ простоти сердешній не добачавъ въ тому гриха. Мыръ праху твоему, мизерный мандривныку! Ты бувъ цилкомъ правъ!

И отъ я, на радисть мою невымовну, скинчывъ „малъ бѣхъ“, се-бѣ-то скинчывъ псалтырь.

Звычайно постановывъ братіи кашу зъ шагамы та, учынившы сей обрядъ священный зъ усима переказамы давными, другою дня взявся выводыты крейдою премудри каракули на мальованій дошци, сырычъ я вже бувъ не „псалтырныкъ“ абы-який, а „скоропысець“.

Зъ отсіеи то, майже щасливои для мене добы, сталася реформа въ школи: ажъ изъ самого Кыива прислалы до насъ стыхарного дяка. Совгиръ слипый спершу ставъ бувъ змагатыся, але жъ передъ сылою закона мусивъ здатыся: зложивъ свою мизерік въ одну торбу, скинувъ торбу на плечи, взявъ въ одну руку патерыцю, а въ другу зшытокъ зъ сынього паперу, де булы пописыувани псалмы або виршы Сковороды та й помандрувавъ соби шукаты другои школы. А братія моя по науци, „аки овцы отъ волка розсыпалыся“, то такъ и воны видъ нового дяка стыхарного, „зане пьяница бѣ паче всѣхъ пьяницъ на свѣтѣ“. Проты рожна тяжко праты: на що я вже бувъ терпелывый за всю братію, але нарешти и я забравъ свою зброю: табыцю, перо та каламаръ зъ крейдою та й помандрувавъ во своясы зъ мыромъ, дывуючысь тому, що минуло...

Отъ зъ того часу zaczynaється довга лава спомынокъ моихъ невидрадныхъ и найсумнійшихъ. Небавомъ вмирае неня, батько беретъся зъ молодою вдовою та замість вина бере зъ нею трохъ дитей. Хто хочъ здалека бачывъ мачуху и зведенягъ, той, значыть, бачывъ пекло въ найогыдлывійшому його торжестви. Мижъ намы дитьмы не було такой годины, щобъ мы

не плакалы та не быльсь; не було годыны, щобъ батько зъ мачухою не сварыльсь та не лаяльсь.

Мачуха ненавидила найпаче мене, мабуть за те, що я часто духопельвѣ тендитного іи Степанка. Въ-осени того року батько пойхавъ чогось до Кыива, въ дорози занедужавъ та, вернувшись до господы, небавомъ и вмеръ...

По смерти батька одынъ зъ моихъ дадькивъ—а въ мене ихъ було чымало,—щобъ вывести сыроту въ люде, якъ винъ мовывъ, сказавъ мени за „явствіе та пытіе“ въ-литку пасты череду свыней, а зимою помогаты його наймытови въ господарствіи; але жъ я ввбравъ соби що иншого. Взявъ свою табльщю, каламаръ та псалтыръ та й рушивъ до пьяного стыхарного дяка въ школу и поселився тамъ нибы школяръ и робитныкъ. Отъ тутъ починається мое жыття практычне. Перебування мое въ школи було такы доволи не комфортабельнымъ. Добре ще, колы траплялься на сели небижчыкы (просты мене Господы!), тоди то мы ще сякъ-такъ перебувалься, а якъ нема, то килькы днивъ зъ ряду просто голодували.

Инколы въ-вечери визьму я торбу, а учитель мій визьме въ десныцю посохъ мицный, а въ шуйцу посудыну „скудельну“ (мы не гребалы такымы напоямы, якъ грушевый квась и ин.) та й пидемо по-пидъ виконнямъ выпивуваты „Богомъ избранную.“ Иншый разъ тряплялюся, що де-що такы принесемо въ школу, а иноди такъ вернемось на-сухо, тилькы що не голодни.

Трохи що не увесь псалтырь я знавъ на пам'ять и читавъ його, якъ казали мои слухачи, wyra3но, себъ-то голосно. Отъ черезъ се не було въ сели такого небижчыка, щобъ я надъ нымъ не прочытавъ псалтыря; за те давали мени кнышъ и копу грошей. Гроши я виддававъ учителеви, бо се його дохидъ бувъ, а винъ вже видъ щедротъ своихъ надилавъ мени п'ятака на бублыки. Отсе було еднє джерело, зъ якого я живъ. Зъ такымы, вже жъ можна мовыты, помирнымы доходамы, годи мени було роскошуваты та вбиратыся краеюкомъ. Ходывъ я звычайно въ диравий сывенькй свытны, разъ-у-разъ въ бруднй сорочци, а про шапку та про чоботы и спомыну не було ни литомъ, ни зимою. Разъ якось давъ мени якыйсь мужыкъ за чытання псалтыря ременю на прышвы, але й те одибравъ въ мене учитель, наче свою власність.

Ой багато, пребагато росповивъ бы я цикавого на сю тему та журлыво якось росповидаты.

Отакъ надъ моею дытынною головою пролетило чотыри мизерни роки.

Дали мои спомынки набираютя ще бильшь тужлывыхъ образивъ. Далеко, далеко видъ бидного любого мого краю,

„Безъ любви, безъ радости

Юность пролетѣла!“

Не пролетила справди, а пропленталась въ злыдняхъ, въ темноти, въ зневази. И все отсе тяглося ривни-сенько двадцять литъ...

Въ той часъ, якъ я вештався по свитахъ, геть видъ мого любого краю, я вдававъ соби його такымъ, якимъ бачывъ ще дытною,—прекраснымъ и велычавымъ; про звичаи його мовчазныхъ мешканцивъ я выробывъ соби думку, прыладжуючы ихъ до пейзажу; та мени въ голову не впадало, щобъ могло быты инакше, а выходыть, шо инакше.

Перенесшы двадцятылитній испытъ, я трошки оперывся и вже полетивъ прямо до ридного кубла.

Небавомъ попередъ мене мыгнулы давно знайоми мени хаткы биленькы: вони зъ-за темной зелени нибы усмихалыся до мене.

Ну, чы може-жъ такы быты по отсихъ любыхъ захысткахъ мисце злыднямъ и огыдлывымъ ихъ проводырямъ? Ни! а то чоловікъ бувъ бы не чоловікомъ, а просто жывотною... Зъ оттакымы солодыкымы думкамы перейхавъ я майже усю Черныгивщыну, нигде не зупыняючысь. Зъ миста Козельця мени треба було збочыты зъ почтового шляху и блызше прыглянутысь до мого Эдему та й почуты отсе сумне та правдыве оповидання.

Мисто Козелець своимъ выдомъ ничымъ не видрижняється видъ своихъ бративъ, повитовыхъ мистъ украинськихъ. Въ исторіи нашій тежъ Козелець не грае роли особлывои, якъ, напрыкладъ, його тоvaryши заднипрянськи; хиба тилькы згадаты, шо року 1663 недалеко звидсила збиралася чорна рада, через котру Брюховецькый стявъ голову свойому супротивныкови Якыму Сомкови. Одно слово: мисто Козелець

ничымъ не выдається, але жъ проиизжый, абы тилькы винъ не спавъ тоди, якъ переминяють йому коней, або не йивъ у пана Тыхоновыча, такъ непреминно полюбується зъ вельчавого храму, зграбнои архитектуры Рос-трелевои, збудованного тією Наталкою Розумыхою, зъ котрои пишовъ ридъ графивъ Розумовськихъ.

За шисть верстовъ видъ миста Козельця, въ сели Лемешахъ, въ убогій хатци на сволоци чытаемо: „Сей домъ соорудыла раба Божія Наталія Розумыха року Божого 1710“. А въ мисци Козельци, въ вельчезному будынку, на мармуровій дощци стоить: „Сей храмъ соорудила графиня Наталія Розумовская 1742 г.“ Чудни отси два памъятныкы одніси и тіси жъ строятелькы!...

Въ Козельци я нанявъ соби пару конячокъ у-купи зъ рудымъ жыдкомоъ та й пойихавъ соби сильскымы дорижкамы, куды мени треба було. Се було въ вересни. Зъ ранку день бувъ сиренькый, а пидъ вечиръ ставъ и мокренькый. Блызылася ничъ, треба було десь переночуваты, а по дорози не тилькы що коршмы, але й шыньку мизерного не видно.

Не дойиздячы до Трубежа, або, якъ кажуть, Трубайла, намъ здалося, що на прыгирку стоить село: пидъйиздымо блыжче, и справди село, тилькы погориле и на чорній улыци не видно ничого жывого. На тимъ боци Трубайла за греблею мы побачылы били хаты мижъ вербамы та мижъ садамы, шо вже почыналы жовтиты. Проиыхалы мы по гребли повзъ два млыны и опынылыся въ велькому сели козачому. Чысти, вельки

хаты и не поруйновани тыны свидчылы про добробыть мешканцывъ. Мени найбільше сподобалась перша видъ царыны хата, и я пишовъ просытыся тамъ на ничъ. Дошыкъ сiявъ такы добре, а господарь тiей привитной хаты не вважае на дощъ: стоить соби, облокотывшысь на тынъ, убрався въ новый непокрытый кожухъ, курыть коротеньку люльку та всмихаючысь дывытыся, якъ його коханци, крутороги волы половiи, раюють на городи, смакуючы капусту.

А господыня, побачывшы зъ викна таке злочынство, выбигла зъ хаты и кризь сльозы загукала:

— Чого жъ отсе ты, недолуде старый, стоишь та дывышыся, якъ скотына добро нивечыть? Чому не заженешъ iи до загороды?

— Та я вже тридцять литъ заганявъ iи, нехай теперь други заганяють!—видповивъ господарь цилкомъ байдуже и курывъ соби люльку.

— Ой, Боже-жъ мiй зъ тобою!—зновъ загукала господыня. Хочь бы ты кожухъ знявъ, хйба ты не бачышь, що дощъ иде?

— Такъ що-жъ зъ того? Нехай соби йде зъ Богомъ.

-- Якъ що-жъ? Кожухъ знивечышь.

— Такъ що-жъ, нехай соби изнивечу, у мене другыййе.

— Хочь ты йому киль на голови теши, а винъ все свое верзе,—мовыла господыня и побигла выганяты зъ городу скотыну. А господарь подывывся у-слидъ неи й спокiйно усмихнувся.

Мени вельмы подобалася отся, цилкомъ украинська сцена, и я, высунувшысь зъ брычки, повытавъ госпо-

даря зь добрымъ вечеромъ. На тевинъ мени видповивъ:

— Добрый вечеръ и вамъ люде добри. А чы далеко васъ Богъ провадыть?—спытався винъ, надыгаючы шапку.

— Та воно не далеко, а все такы сьогодни не дойдемо,—видповивъ я, вылазячы зь брычки, и додавъ зь протягомъ: А чы не можна-бъ у Васъ, дядку, пидночуваты?

— Та чому не можна? Можна! Боже благословы! Хата у насъ чымала, а мы добрымъ людянь ради.—И кажучы отсе, винъ видчынівъ ворота, и брычка всунулася въ двиръ.

— Просымо покорно до господы,—мовивъ до мене господарь, якъ я вйшовъ до двору. Знаты було, шо винъ сълкується вымовляты слова на московськый ладъ.

Я вйшовъ у хату. Майже темно було въ хати, але все такы можна було спостерегты, шо хата простора и чыста.

— Просымо покорно, садэвиться,—мовивъ господарь, вказуючы на лавку,—а я тымъ часомъ скажу свой старй, нехай намъ шо-небудъ засвитыть,—додавъ винъ, выходячы зь хаты.

За хвылыну прыйшла въ хату бабуся зь свичкою, постановыла ии на стиль, сама повагомъ одйшла до дверей й, згорнувши руки на грудяхъ, мовчки стала. Вона була въ чыстому очипку и въ немецкый сукни. Се мене доволи здывувало. Якимъ се чыномъ, погадавъ я соби, въ мужыцкый хати опынылася така проява.

Небавомъ за бабою прыйшовъ и господарь у хату, несучы на рукахъ дытыну. Дытына плакала, але, по-

бачывшы бабусю, стысла губонькы и, усмихаючысь, прастягла до неі малесенькы рученята.

— Визьмы його, Мыкытывно, до себе,—мовывъ господарь, оддаючы дытыну бабусі.—Бачъ, воно мужыка боіться! Сказано, княжа!—додавъ винъ, глядзячы дытыну по голові своєю кистлявою та шырокою рукою.

У мене въ кышени булы леденці. Треба мовыты, цо отсей продуктъ бувъ у мене разъ-у-разъ въ кышени тоді, якъ я йиздывъ по Украіні, бо до мого понурого земляка ничымъ такъ швыдко не можна пиддобрытысь, якъ прыголубывшы його дытыну.

И я часто и не безъ корысті вжывавъ сього заходу. Я давъ дытыні леденець. Воно спершу подывылося на мене своїмы незвычайно велькымы очыма, потімъ мовчкы взяло леденець и, усмихаючысь, засунуло його въ свои рожевы губенята.

Тутъ можна стало бльжче подывытыся мени на дытыну и на бабусю. Бабуся здалася мени живымъ малюнкомъ Жераръ-Доу, а дытына була сущый херувымъ. Мене вразыла чыста, тонка краса дытыны; мои очы зупынылыся надъ тымъ прегарнымъ творіннямъ. Бабуся виднесла дытыну геть и перехрестыла; мабуць, щобъ не зурочено; а господарь, пидійшовшы до мене, мовывъ:

— А цо? хіба не панська дытына?

— Прегарна дытына,—видповивъ я и давъ дытыні ще одного леденця.

Знаты було, цо мій гостынець задовольнивъ господаря: винъ, пидійшовшы до бабусі, мовывъ:

— А скажи лышень мой старій, чы не знайде тамъ вона чого пидвечераты?—Та, може, колы не лыха буде, то й тее... по чарци. Догадуець, Мыкытивно?—и, повернувшись до мене, додавъ:—Мы, добродію, люде прости; не маемо ничего такого солодкого, ни того чаю, ни-же того сахару, а такъ просто, по простому.

Бабуся вийшла зъ хаты, а господарь зъ дытною на рукахъ, пидходячы до мене, мовывъ:

— О теперъ подывиться на неи, добродію! Правда, що гарне?—сказано: „княжа“.

— Якымъ се побытомъ князивська дытна опынылася въ васъ?—повидайте мени Бога рады,—спытався я, дывуючысь.

— Нехай вамъ, добродію, про се Мыкытивна росповість; бо тутъ, не вамъ кажучы, була суща комедія; вы бачылы отамъ, за Трубайломъ, погориле село?

— Бачывъ, одповивъ я.

— Ну добре, що бачылы. Отсе саме село було колысь сього дитяты матери, та й выгорило, а вона його маты... та я не росповимъ вамъ, якъ воно тамъ выгорило, мене тоди й дома не було, то я й не бачывъ; нехай Мыкытивна сама розкаже: вона бачыла, то вона й знае, якъ воно діялося.

Тымъ часомъ бабуся прыйшла въ хату и поверхъ кылыма накрыла стиль билою скатертыною, дистала зъ польци восьмыкутну пляшку розмальовану зъ горилкою и чарку и постановыла на стиль; потимъ на деревьяній тарилци, тежъ розмальованій прынесла паляныцю и чабака, покраяного на шматочки. Все отсе вона зро-

была тыхо та поважно. Дывлячысь на неі, можна було запевне мовыты, што вона зросла и зистарылася не въ мужыцькій хати. Дали взяла вона на руки дытыну и одступыла геть, а господарь мовывъ до неі:

— Мыкытивно! якъ уложышъ дытыну спаты, такъ заходь до насъ; намъ треба буде де-про-шо у тебе роспытуе, таты. Та скажы тамъ мой старій, нехай намъ вечерю готуе, та не галушкы, або кулишъ; бачыте, щоу насъ чужи люде.

Бабуся выйшла зъ хаты, а винъ мовывъ у слидъ неі:

— Зайдить-же до насъ, Мыкытивно, якъ упораець!

— Добре, зайду,—видповила вона зъ синей.

Выпывшы по адній, а дали й по другій, господарь ставъ бильшъ говиркымъ, та такъ розбалакався што, й самъ того не спостерегаючы, расповивъ мени свое жыття. Мижъ иншымъ расповивъ, што, якъ ще винъ парубкувавъ, такъ бувъ въ погонцяхъ пидъ французомъ и вернувся зъ Нимеччыны голый-голисенькій, зъ однимъ батогомъ въ рукахъ, а потимъ пишовъ до пана въ наймы; дали расповивъ, якъ винъ працею та розумомъ богативъ, и зъ голоты-сыроты зробывся першымъ господаремъ на сели. Одно слово: за годыну я, не роспытуючы, знавъ вже усю його найтайнішу исторію. Але што мени найбільшъ сподобалося, такъ те, што винъ, расповидаючы исторію звычайну, немовъ мыхохить зачеплявъ свои подіи велетенськи, не бачучы въ ныхъ ничего незвычайного.

Тымъ часомъ бабуся прынесла намъ вечерю и сама зъ нами повечеряла. По вечери господарь, помольвшысь Богови, повернувся до бабуся и мовывъ:

— Теперъ, Мыкытивно, розкажыть намъ про свою княгню, якъ воно тамъ у васъ дѣлося! Та спершу наточить намъ въ кухню сльвѣянки; воно, знаете, веселище буде слухаты.

Хвылынъ може за пѣять бабуса вернулася въ хату зъ чымалымъ шклянмымъ глечыкомъ въ рукахъ, поставыла його на стиль, сама сила на ослони. Трохы помовчавшы, вона зитхнула и мовыла:

— Про се безталання, Степановичу, про сю тяжку, гирку долю я готова що-дня, що годны расповидаты цилому свитови, щобъ увесь свитъ видавъ про си сльозы гирки та кервави та й карався ими.

Бабуса зитхнула. Мы выпылы по чарци сльвѣянки, а бабуса, утершы сльозы, мовыла:

— Не вмю вамъ сказаты, скільки тому мынуло литъ, але було се давно, ще до француза: я тоди була ще стрыгою, якъ небижчыкъ Демѣянъ Хведоровычъ, царство йому небесне, вернувся зъ-пидъ француза. Вони служылы десь въ козакахъ, а въ якихъ суще, того не вмю вамъ сказаты; знаю тилькы, що въ козакахъ, и бильшь ничего. Свого татуса, Хведора Павловыча, царство йому небесне, вони не застали живымъ. Оглядившысь коло господарства, полагодылы, що треба було полагодыты, а чого не треба було, то й такъ лышылы. Тоди-жъ ото вони збудувалы и ти два витрякы, що на гори стоятъ. Зъ усього добра витрякы тилькы й зацилилы. Збудувавши витрякы, заходылыся свататыся. Ажъ за Остромъ у якогось Солонны высваталы Катерыну Лукѣянивну; на весни ото посваталыся, а писля першом

Пречистой и побрался. И пивъ року не бувъ женихомъ, голубонько мій! Після весилля мене взяли до двору въ покой. Довго я плакала та нудылася за своїми кривними; а потимъ, якъ підросла, то й привыкла. Другого чи третього року,—здається третього—пославъ имъ Богъ дытну: Катериною охрестылы, а мене приставылы до неї за няньку. Зъ того часу и по сю люту пору я ни на одну годьну не розлучалася зъ моею безталанницею: у мене на очахъ зросла и замижъ пишла и...

— Та годи вамъ плакаты, Мыкытивно!—промовывъ господаръ зъ почуттямъ;—на все те воля Божа, а слизмы тилькы Бога гнивыте...

Бабуся трохи помовчала, а дали зновъ мовыла:

— А що за господаръ! що за добрый панъ! душа у його праведна була! И все пишло прахомъ... Отсе було Катеринычъ, небижчыкъ вже, прыйиде до насъ зъ Кыива да тилькы дывується! А вже винъ такый бувъ, що марне никого не похвалыть! Та правду мовыты, було чому й дывуватыся. У сели усихъ на все сорокъ хатъ, а подывылыся-бъ ви, чого въ тому сели не було! И ставы, и млыны, и пасыкы, и винныця, и броварь, и скотыны рижной, а въ коморахъ! Господы! хиба тилькы пташыного молока бракувало, а то все було. А на сели, по улыци такъ любо й пройты! Хаты чысты, били; здавалося, що у насъ на хутори вично субота велькодна: люде ходять соби по улыци, або сыдять по-пидъ хатамы зобути, одягнени; дитвора бигае въ билихъ сорочечкахъ, немовъ янголятка Божи! Охъ-охъ! и де воно все подилося? Правда и Катерины

Лукъянивна була хозяйка, та все такы не те, що винъ. Бувало отсе що Божои недили, або на свято яке покличе небижчыка отця Кыпріяна на „Отче нашъ“ та й постановить 12 графынчыкивъ, усе зъ настоянками рижными. А о. Кыпріанъ, царство йому небесне, на „Отче нашъ“ выпье чарочку зъ кожного графынчыка, а якъ дійде до останнього, то й промовить: „Отъ—отсе добра горилка! ии й будемо пыты“. Правду мовыты, уси горилки були однаково добри, та винъ, небижчыкъ,—такий вже чудный бувъ,—любывъ иноди, царство йому небесне, и пошуткуваты.

— Чудный, такы чудный бувъ небижчыкъ, мовывъ господарь, наливаючи въ чарку сливъянky, а шо-бъ сказаты пьяного, такъ я його ни во вить не бачывъ. Богъ його святыи знае, якъ воно такъ: чы то вже дасть Богъ людныи таку добру натуру, чы самъ вже чоловикъ такъ себе прыспособыть,—не знаю А шо, Мыкытивно, колы бъ и вы зъ намы выпылы чарочку сливъяночки, може бъ воно полехшало!

Бабуся не взялася до сливъянky и, трохи помовчавшы, росповидала дали:

— Катерыни Демъянивни ишовъ уже другый годочокъ, якъ вона вперше на ноги встала. Я цривела ии за рученьку до гостынной кимнаты, де воны вранци чай пылы. Господы! шо тутъ було радощивъ, такъ ине сказаты! Катерына Лукъянивна взяла ии до себе на руки, поцилувала и промовыла, шо ни за кого въ свити не виддасть ии за жъ, хиба за князя, або за генерала. Охъ-охъ! такъ воно й сталося на наше безголовья! А яки люде прысватувалыся! такъ ни! дай ий князя, або генерала... отъ тоби й князы!

— Ничого казаты, хороший!—перобывъ господарь,— давь винъ ий бидній себе знаты.

— Стала вона, ота дытына, росты; стали ии учыты, спершу грамоты, а потимъ—и Господы!—чого тилькы воны ии не вчылы! Ажъ жаль було дывытыся на бидолашну дытыну: и шыты и гаптуваты, и прясты и ныткы сукаты; а разъ якось батько пославъ ии навить коривъ доиты. А вона—маты—було часомъ нахынетъся на його: „Що ты робышь, каже, зъ бидною дытыною? Хиба мы ии за мужыка готовымо?“ А вивъ на те: „Може й за мужыкомъ доведеться жыты: будущыны не вгадаешъ“. Бувало скаже та й замовкне. Тоди вона: „Ты бѣ липше для неи справывъ у Кыиви фортепянь“. Купылы й фортепянь на контрактахъ; привезлы и вчытеля. Не вмю сказаты, чы винъ полякъ бувъ, чы немецъ, не скажу; тилькы по нашому не вмивъ винъ говорыты. Якъ вымовыть, бувало, слово, такъ слухаешъ та регочешся. За рикъ, чы два винъ вывчывъ ии граты на фортепани. Вже було якъ и заграе моя лебидонька! то тилькы сыдышь, слухаешъ, слухаешъ, та й заплачешъ; а вона визьме та й переминить писню, та якъ утне горлыцю, або метельцю! Не вытерплю, було, я гришна! якъ визьмуся въ боки, та якъ пиду! якъ пиду! ажъ пидлога пидь ногамы гнетъся, а вона грае та регочеться. Разъ якось на сьому застала насъ пани, та якъ гукне на насъ: „Ты що отсе робышь? Хиба тому тебе вчылы граты? струментъ тилькы псуешъ своими мужыцькымы писнямы! А ты, цындре!—се на мене,—не знаешъ, де коривъ доять, такъ знатымешъ!“ Я, звисно, перелякалася,

стала собі въ куточку та й духъ прытаила, наче мене й у свитлыци нема.

— А вы такы, Мыкытивно, булы колысь, нигде правды диты, добре дзендзюрысти,—озвався господарь, налываючы чарку сльвъянky.

— Просты мене, Господы!—сказано молодисть, а за молоду чого не трапляється! Бувало, якъ моя пташечка Катруся зовсимъ выросла, такъ якъ полягають паны по вечери спаты, мы й пидемо по-тихеньку въ садъ, гуляемо, гуляемо; до самого свиту гуляемо! А мисяць такъ тоби свите неначе въ-день! А вона ще визьме та й заспивае: „Не ходы, Грыцю, та на вечерныци!“ тыхо-претыхо, та солодко, такъ бы, здається, до самого свиту усе бь слухала ии та слухала.

— Памъятаю, добре памъятаю,—перебывъ господарь: разъ иду я въ-ночи повзъ вашъ садъ и чую: щось спивае, тилькы не „Грыця“, а якусь иншу письню; я й зупынився, та нибы прыкованый до тыну и простоявъ до самого билого дня: ничего казаты, пречудесно було слухаты, якъ вона спивала.

— А вранци, чы спала, чы не спала, пурхне наче та пташка, та й зновъ веселиться, и ниhto опричь мене не видае, що въ-ночи діялося... Эге! Бидна голивонька моя! трохы, трохы не забула: тутъ, голубъята мои, йе надалеко видъ нашего села билия Трубайла хутирь майора Ячного. Вы, Степановичу, знаете самого Ячного? Винъ и доси ще, дяка Богови, живый и здоровый... а що за господарь, такъ и небижчыкови нашому, Демъяну Федоровичу, не уступыть. Правда, у його

на всьому хутори тилькы десять хатъ, такъ за-тежъ и хаты вже! за-тежъ и люде! Шо хата, то й симъя душъ зъ десять. Звисно, въ добри та роскошахъ жывуть; у самого майора ставочокъ, млыночокъ, садочокъ, а димокъ, наче та пысанка: чепурненькый, биленькый, дывысь тилькы на його та любуйся. А шо-жъ бы було, колы бъ у його ще й господыня була жыва!.. а то винъ самъ за всимъ господарюе. Правда, бувъ у його сынокъ; та то шо?! Дытына ще, та й зросла не на очахъ, а десь въ школи тьбуло; не тямлю, чы въ Кыиви, чы въ Нижыни.

А булы вони зъ нашымъ небижчыкомъ велькымы прыятелямы: колы не нашъ у його, такъ винъ у нашого: куска хлиба на зъидять наризно, усе вкупи. На святахъ прыйиздывъ до його гостюваты и сынъ його зъ школы, та тилькы слава, шо прыйиздывъ до батька, а въ насъ було и днюе и ночуе; усе було зъ моею Катрусею и въ поли, и въ саду, и въ покояхъ: одно безъ одного нукуды; а я було дывлюся на ихъ та й гадаю: отъ зросте парочка такъ на предыво! Вони просто одно для одного й на свитъ божый родылыся. Такъ гадавъ и майоръ, такъ гадавъ и нашъ Демъянъ Федоровычъ, а про дитей вже ничего й казаты! Та вси такъ гадалы: тилькы Катерына Лукъянивна не такъ гадала. Вона спала й бачыла зятемъ або князя, або генерала, а про кого иншого и думаты не хотила. А отсе було, якъ прыйде часъ выражатыся йому до школы, такъ Катруся моя вже за тыждень почынаеплакаты; а колы винъ зовсимъ вже пойиде, вона въ постиль ляже и

довго після того ничогисинько ни йисть, ни пьє: Господь їи знає, чымъ вона й жыва була.

Такъ то вони, мои голубята, росли и вырослы вкупи та й покохалыся соби на безголовья.

Господы! я вже въ домовину дывлюся, а якъ нагадаю про ихъ, моихъ пташенятъ, такъ нибы зновъ помолодію! Бувало, отсе вже саме передъ тымъ, якъ треба имъ розлучатысь, зійдутъся соби въ садку, постануть де-небудъ пидъ лыпоку чы берестомъ, обіймутъся, поцилуютъся и довго, предовго дывляться одно на одного въ вичи, сльозы зъ очей, наче ти перлы, котяться. Мабуть чулы вони, серденята, що не дадутъ имъ жыты одному для одного.

Ото-жъ и скинчывъ винъ свою школу. Губернаторъ Катерынычъ, теперъ вже небижчыкъ, взявъ його до себе у Кывивъ: до якогось тамъ суду прыдильвъ його, не вмю вже вамъ того сказаты, до чого винъ тамъ його прыставывъ. Перебувъ винъ тамъ рикъ у тому суди, чы въ палати, а на другый прыйиздыть до насъ въ гости и давай свататы Катрусю. Демьянъ Федоровычъ, царство йому небесне, зразу згодывся и каже, що лишшой дружыны нашій Катруси не знайты й за морямы. Воно й правда. Такъ що-жъ! Сама—себъ то не Катруся сама, а сама Катерына Лукьянивна уперлася и рукамы и ногамы.—„Шо се таке!—гукае було:—щобъ я свою едынычку выдала за якогось хуторянина, за гречкосія! Ни во викъ! Липше въ домовину їи положу, нижъ бачытому їи, мою любу Катрусю, на хутори Ячного! Шо вона тамъ робытыме?

Ындыкывъ годуватыме, та гусей заганятыме!.. Ни! не на те я ии на свить породыла; не для хутора Ячного я ии выховала!..—Погукае отакъ та й замкнется въ своему покою на цилый день. А винъ самъ коло неи и сякъ и такъ; ни! Хочъ и не пидходь!—одно свое вона провадыть: князя, або генерала та й годи! Разъ небижчыкъ Демъянъ Федоровычъ хотивъ звинчаты ихъ вже безъ ии воли, та мабуть не судывъ Богъ зробыты йому таке добре дило. Вернувшысь зъ Кыива объ Риздвѣ винъ занедужавъ, а на середхрестя и душу Богови виддавъ! Господы! и теперь страшно нагадаты, якъ винъ ии, вже лежачы на божій постели, благовъ не выдаваты Катрусѣ ни за князя, ни за генерала, а одружыты ии зъ молодымъ Ячнымъ, або зъ кымъ иншымъ, та або тилькы зъ ривнюю. Ни-жъ такы!—поставыла на свойому.

Наче на грихъ, саме въ чыстый четвергъ вступыла въ Козелець драгунія: розвели ии на постой по хуторахъ та по селахъ на циле лито. Шо то за драгунія була! бодай вона никола до насъ не верталася! Дала такы себе въ тямкы ота клята драгунія! Чы то одна чорнобрыва умылася слизмы, провожаючы оту Иродову драгунію! Въ самому тилькы нашому сели лыпылыся чотыри покыткы, а шо то въ Оглави або въ Гогольови? Мабуть тамъ имъ и рахунку не звездешъ!

— Ой! лыхо намъ, лыхо намъ зъ тымы драгунами!—промовывъ господарь, наливаючы чарку сливъянкы.

— И теперь страшно згадаты, — мовыла дали бабуся. Разъ якось увечери сыдымо мы вси трое въ гостын-

ній; я, здається, карпитку вязала, Катерина Лукъянивна такъ собі сыдила, а Катруся книжку читала, та такую жалисну, що я трохи - трохи не заплакала: про якогось Запорожця Кыршу, чы про Юрія, гараздъ вже не прыгадаю, а тилькы вельмы жалисна.

Отъ вже дочыталася вона, моя рыбонька, до того мисця, де того Юрія Запорожця въ кайданы закували и въ темныцю засадылы; тилькы ото зырк! дывимось,— йде въ кимнату драгунъ высочезный, усатый, а пыка неначе те решето: гладка та червона, здавалося, червоныйша видъ комира, що бувъ у його на мундыри. „Я, каже, такой-то и такой-то князь Мордатый,“ а я собі думаю: мы й самы бачымо, що ты мордатый. „Я, каже, скуповую овесь и сино, чы нема у васъ на продажи?“ Катерина Лукъянивна на те йому: „Е, каже, прошу васъ, сидайте.“ Отъ винъ и сивъ собі, а мы зъ Катрусею заразъ до другого покою, щобъ тамъ книжку дочытувати. Тилькы що почала вона чытаты, ажъ иде Катерина Лукъянивна и каже: „Отъ тобі, Катрусю, и суджений твій.“ Мы, якъ сыдили, такъ и обмерлы. Якъ тамъ воно було у ихъ того безшастного вечера, якъ тамъ винъ сватався, мы про те ничего не знали.

Ото жъ зъ того самого вечора и почавъ князь йиздыты до насъ шо-дня и вранци и ввечери.

А молодого Ячного, якъ прыйде було зъ Книва, и на двиръ не пускалы; ходыть було винъ по-за садомъ тапл аче, а мы, дывлячысь на його, и собі въ слёзы. Ова! не помогли й слёзы, а ни-ни! На свойому такы поставыла Катерина Лукъянивна: якъ разъ черезъ годъ по

смерти Дем'яна Федоровича, на великодныхъ святкахъ, взяла та й посватала за князя мою Катрусю безталанну.

— И такы, можна мовыты, справди безталанна! Зъ усього добра, зъ усихъ роскошивъ тилькы й лышылося, шо два витрякы. И сама ще, Богъ видае, чы буде живою,—промовывъ нибы самъ про себе господарь, налываючи чарку сльв'язанкы.

— Отъ-якъ воно було, Степановичу: на провиднимъ тыжни повинчало ихъ. Плакала вона, моя безталанниця, плакала, та шо зъ того. Мабуть такъ вже Богъ хотивъ, не замолыла його мылосердного; мабуть Господь Богъ люблячы карае. Другого дня по щлюби перебрався винъ до насъ зъ Козельця, и деншыкъ його Ящка, такый брыдкый, обирванецъ тежъ зъ нымъ прыйихавъ. Тилькы й доброго було у нихъ, шо вельчезный билый собака кучерявый, юхтовый зеленый капшукъ та довга люлька. Отъ зъ того дня й пишло нове господарство.

На симъ слови бабуся трошки зупынылася, помовчала, перехрестылася та й зновъ почала:

— Просты, Господы, мене, непростену гришныцю! за шо я гужу человека: винъ же мени ничего лыхого не заподіявъ... Ни, якъ подумаю, такъ винъ и мени багато лыха наробывъ. Винъ, просты йому Владыко мылосердный!—бабуся зновъ перехрестылася,—винъ душогубъ! занастывъ мій едныый скарбъ, мою одну, едну любовь! Я никого въ світи никола такъ не любила, якъ мою зирку ту бездолъну Катрусю. Одна моя едина радисть, одно мое едыне солодке щастя було бачыты

їи щасливою въ пари. Шо жъ? Сльозы, сльозы, сльозы та соромъ! а все маты, усьому лыху прычыною ридна маты. Ба! заманулося свою доню йедыну побачыты княгынею! Отъ тоби й княгыня! любуйся теперь на свою княгыню! Любуйся теперь на пречудесне свое село, на свїй садъ зеленый, на свїй будынокъ высокій! Любуйся, Катерино Лукъянивно! любуйся на свои хороши вчынки! Ты, ты одна отсе все накопила!

— Та цуръ їй, Мыкытивно! не згадуї про неї, нехай їй лыхо сныться! розкажуйте, шо тамъ дали було,—мовывъ господарь.

— Охъ! я не тямлю, якъ його й розказуваты, бо тутъ пиде такє страшне та погане, шо грихъ и подуматы, а не то шо розказуваты.

— Розкажуйте вже, Мыкытивно, до краю, а то не треба було й почынаты,—мовывъ господарь, налившы чарку сльвъянки и пидносячы їи бабуся.

— Дякую, Степановычу!—спасыбигъ вамъ, я вже моими слизмы пьяна.

— А не хочете, то якъ хочете; мы зъ добродїемъ выпьемо, а вы тымъ часомъ розкажете, якъ воно почалося у васъ те нове господарство,—промывывъ господарь, частуючы мене сльвъянкою.

— А почалося воно такъ,—промывыла бабуся, и помовчавшы майже скрыкнула:

— Ну, повидайте жъ мени люде добри! чога сїй гришныци не ставало? Пани на всю губу! всякого добра выдымо й невыдомо, въ роскошахъ купалася! такъ нить! мало! дайте мени зятемъ князя, а то умру, якъ не дасте!

Добула, выторговала, купыла соби князя, продавшы свою доню едынычку. Ой, матиркы, матиркы! мабуть забуваете вы про те, якъ страждаете, родячы дытynu, колы такъ дешево продаёте ии... а вона жъ вамъ такъ дорого обійшлася!

Бабуся замовкла, а господарь мовивъ:

— Такъ то воно, такъ, Мыкытивно! Та мы все такы не видаемо, якъ у васъ почалося нове господарство?

Бабуся спокійно мовила дали:

— Почалося воно, Степановичу, зъ того, що князь въ покояхъ собачню завивъ... отъ якъ почалося нове господарство!... Що дня божого пишлы бенкеты! за дымомъ зъ тютюну свиту божого не выдко було, а вже про инше й мовыты ничего. А ще якъ поклыче було до себе на полковання усю драгунію зъ Козельця, то й не прыведы, Господы! Зайидуть пьяни, брудни, гыдки таки, шо не прыведы, Господы, щобъ и въ снi таки прывыдилыся. Та ще коженъ визьме соби по денщыку, такому жъ брыдкому, якъ и самъ. Та не день, не два, не тры, а цилый тыждень гостюють. А чого вони за той тыждень накоють въ доми, такъ и расповидаты соромно! Свннюшныкъ зроблять! чысто свннюшныкъ! Цилый мисяць писля ихъ було мыемо та курымо. Отуть то я довидалась, шо воно таке ота драгунія. А Катерына Лукъянивна дывыться тилькы на ныхъ та всмихається й бильшь ничего.

Не мынуло й мисяця, якъ винъ все уже прибравъ до своихъ рукъ. Ключи видъ комодъ та видъ льоху булы у поганого його Яшкы; колы чого треба навить

Катерини Лукъянивичи, то треба у Яшки прохаты. Отоди то вона вперше заплакала, отоди то вона побачыла нашого князя такымъ, якимъ треба було бачыты його матери ще до шлюбу. Але жъ вона, гордячка, й выду того не подавала, що все те бачыть; а дйде до скруту, що й терпцю вже не стае, вона й тоди, хочъ черезъ вельку силу, усмихнеться и поверне все на жарты. А Катруся, бидна моя Катруся! сыдыть соби въ покою та ричкою розльвається... А винь!... та чы одынъ же разъ таке траплялося! Прийде зъ Козельця опивночи, пьяный, привезе жыда зъ цымбаламы та усихъ на ноги пидйме: „Танцюйте, гукае, танцюйте, хахлацьки души, а ни, то всихъ васъ передушу!“ Мы зъ Катрусею утичемо соби: литомъ въ садъ, а зимою не разъ ночувалы въ мужыцькй хати...

— Чуднымъ мени здається тильки ось що,—перевывъ господарь:—чому вы не догадалыся пьяного його задушты; та й сказаты бъ, що вмеръ зъ перепоею, або просто, що згоривъ зъ горилкы...

— Э! такъ думаете!—легко воно сказаты!.. а грихъ, а судъ страшный, Степановичу! Ни, нехай соби вмирае своєю смертю. Господь йому и судъ и кара, а не мы гришни.

— Та воно то такъ, Мыкытивно! але трапляється ще и ось якъ: одному розбищаци на сповиди у Кыиви чернецъ задавъ таку покуту: „Визьмы, каже, непрощеный гришныче, два камини, звяжы ихъ до-купы реминемъ-сырыцею, перекрынь черезъ плечи; колы реминь

порветься, тоди грихы твои прощени будуть“. Ото жъ и йде винъ зъ тымы каминамы черезъ гробовыше та й бачыть, що на свижій могыли блудный сынъ матиръ свою проклянае. Господы! каже той розбишака, пославъ я на той свить не одного доброго чоловика, дай пошлю и отсього злодогу, що лається. Та якъ замордувавъ його, заразъ йому реминь наче ножемъ переризало. Отъ що!.. Ну, такъ що жъ тамъ у васъ дали було, Мыкытивно?—мовывъ господарь, присовуючы до себе кухоль зъ сльвъянкою.

— Булы, Степановычу, спивы, та танци, та бенкети опивночни! Добенкетувалься до того, що пидъ кинень зими ничого було й на стиль постановыты! Драгунія, знаете, найиде голодна така, що хочъ порожню и макитру поставъ, то вона зъйистъ. Усе було, що не поставъ, вони наче митлою зметуть; а чога зъ посуды не поспіешъ задалегидъ прыняты зи столу, вони й те перебъють; сказано: пьяни люде! А князь сыдыть соби за столемъ, въ долони плеще та гукае: ура! Спершу я не розумила сього слова, думала, що винъ гнивається та гостей своихъ лае, а выходило, що винъ радіе тому, що гости добрѣ його нивечать. Отакъ вони цилу зиму просодомылы та прогоморылы. А на весни дывымося: наше поле не зеленіе; ни трава, ни жыто, ни пшениця не зеленіють. Прыйшлы й зелени свята, а поле чорне, наче на йому ничого й не сіяно. Уже й молебни правылы, и воду въ крыныцяхъ сватылы, не помогло! ничого не посходило. Ярыну посіялы, та зерномъ въ земли погыбла... Люде заплакалы,

скотына зъ голоду заревила, нарешти й собаки заскы-
глылы, завылы и порозбигалыся. Господь видае, звид-
киль взялыся вовкы, та и въ-день и въ-ночи такъ и
ходятъ по селу. То було всесвитне лыхо. А намъ
лыхо вдвое: разъ те, шо люде на сели пухлы зъ го-
лоду, гынулы, немовъ собаки ти, безъ сповиди, безъ
св. прычастя (отець Кыпріянъ и соби занедужавъ); а
друге наше лыхо, шо князь ничего сього не бачыть:
заклыче до себе свою драгунію и зъ людьмы, и зъ
киньмы, и зъ собакамы та й контентуе ихъ цилый ми-
сяць, а про те йому байдуже, шо у мужыкивъ ни од-
ной крыши не лышылося на хати: усе скотына пообъ-
йидала; у лиси не стало ни одного дерева живого: и
дубъ, и ясень, и кльонъ, и осыка, та на шо вже вер-
ба, яка гирка, и іи люде поскоблылы та пойилы. Охъ
Господы! Шо то Богъ робыть зъ чоловикомъ! Гля-
нешь було, зовсимъ не чоловикъ ходыть, а шось
страшне, звирь якыйсь голодный; безъ жаху и поды-
вытыся на його не можна!... А диты!... бидни диты
просто пухлы зъ голоду; лазять було середъ улыши,
наче цуценята, та тилькы й чуты видъ ныхъ одно
слово: „папы, папы!...“

Вы, може, соби гадаете, шо хлиба въ насъ бра-
кувало? Де вамъ! въ скыртахъ та по коморахъ мыши
його йилы, литъ на пъять выстачыло бъ прохарчуваты
не тилькы наше село, а цилый Козелець! Такъ шо
жь вы робытымете? не дае людямы: липше, каже, я
попродаю, якъ подорогшае, а люде, нехайдохнуть, видъ
ныхъ корысти мало!..

Катруся моя люба заикнется було слово промовыты за людей, винъ на неи, немовъ на свого билого собаку, якъ гукне: „Мовчы, наче я не знаю, що роблю!“—Вона й замовкне, пиде до другого покою та въ слёзы, а я, дывлячысь на неи, и соби! Шо ты вдіешъ зъ нымъ! сказано—звиръ, а не людына! Господь ии знае, якъ вона те выносыла. Вона тоди вже ходыла зъ отсією самою дытною, що вы сьогодни бачылы... А колы було винъ пьяный засне, вона дрожачы тыхесенько прыйде повзъ його до свого покою, впаде тамъ на-вколишкы передъ образомъ Скорбяшои Божои Матери та такъ молыться, та такъ плаче, такъ гирко та тяжко, що я николы въ свити не бачыла, щобъ люде такъ плакалы. Мени було ажъ страшно стане.

Колы жъ було винъ зъ своею драгунією пойиде на польовання, мы наберемо по мишку хлиба печеного та й... я жъ було й кажу ий: „Не берить, не пиднимайте черезъ сылу, самы вы бачыте, яка вы... я й сама понесу.“ А вона на те: „Ничого, Мыкитивно, ничого! ты тилькы вказуй мени, у кого йе маленьки диты та стари немощни люде...“ Отъ мы й пидемо по хатахъ! Господы! чога я тамъ не надывылася! Голодна маты рве кусокъ хлиба зъ роту своеи умираючої дытны! Мени здається, и вовчыха сього не зробыть! О, шо значыть голодь!...

Заходьмо разъ до одніей хаты: докы на свити жыву, сього не забуду!.. Видчынылы мы двери, такъ на насъ и пахнуло пусткою! Входьмо, бачьмо: середъ

хаты на доливци лежать двійко худыхъ-прехудыхъ дитей. Одно вже зовсимъ конало, друге ще губынятамы ворущыло; бия 'ныхъ стоить маты: худа, простоволоса, блида, въ розирваній сорочци и безъ запаскы. А очи у неи таки страшни, що й Господы; не дывыться вона имы ни на дитей, ни на кого, а такъ соби, хто його зна, на що вона дывыться! Мы зупынылися на порози, а вона нибы глянула на насъ и закрычала: „Не треба, не треба хлиба.“ Я достала зъ мишка шматокъ хлиба и подала їй. Вона мовчки вхопыла його обиручъ, затремтила, пиднесла до рота мертвои дытны, а потимъ зареготала... Мы выйшли зъ хаты...

— Вы, Мыкытивно, багацько такы де-чого бачылы на свойому вику,—промовывъ сердешно господарь.

— И не кажить, Степановичу! Не приведы, Господы, никому бачыты того, що я бачыла.

— Господь його мылосердний знае,—мовывъ господарь до мене,—якъ воно усе на свити такъ хытро та мудро. Отъ скажу хочъ и про себе: отси прокляти голодни годы мене на ноги поставылы. У мене хлиба й свого такы доволи було, а то ще въ людей прыкупывъ; нибы знавъ, що буде недоридъ. Ото-жъ якъ прыйшовъ голодный рикъ, до мене уси й сунулы по хлибъ; хочъ я продававъ и въ-четверо дешевше, нижъ паны жыдамъ продавалы, а проте зибравъ добрячу копійчыну! Чумаки мои одну зиму зимувалы на Дону зъ худобою, а другу перезимувалы за Днистромъ, тамъ голоду не було. Отъ слава Богу—чумаки мои вернулыся живи й здорови,

ще солы й рыбы навезлы; а хлибъ святыи я дома по-продавъ, отъ у мене и гроши йе, и скотына, слава Богу, жыва!... Такъ то діється въ свити! дивно такъ!

— Такой вже вашъ таланъ, Степановичу!—мовыла бабуся зитхаючы: за те вамъ Господь и посилае, що вы въ нужди людей не забуваете. Отъ хочъ и теперь: колы бъ не вы,—де бъ я прытулылася зъ сыриткою! Хочъ зъ горы та въ воду!

— Господь зъ вами, Мыкытивно! Мы свои люде! зъ кымъ намъ и подилытыся, якъ не зъ вами? А тымъ часомъ расповидайте, Мыкытивно, дали, а то нашому гостеви може спочыты треба.

— Такъ отъ сякъ чы такъ мнуло лито, а осени мы й не бачылы. Зразу лягла зима, да така люта, укупи голодь и холодъ завыталы до насъ. Лисъ, увесь обидраный, высохъ, а князь заборонывъ його рубаты на дрова. Кто, каже, хочъ гилячку зрубает, того въ моголы зажену! Лисъ, каже, славный, сухой, литомъ прыймуся соби будуваты палату. Я люблю простиръ, мени треба дворець, а не хата хахлацька, отака, въ якій я теперь згынаюся, немовъ собака въ конури. А люде бидни мерзлы и мерлы; шо ты зъ нымъ вдіешъ? сказано пань. Що хоче, те й робыть.

На першому тыжни въ пылыпивку Катерына Демьянивна родыла; мамкы не хотила взыты, сама годувала свою дытыну. Небавомъ писля хрестынъ пойихавъ винъ въ Козелець до товаришивъ; гостювавъ тамъ цилый тыждень. Мы безъ його трохи спочылы, слава Богу; ажъ

ото вночи, мы вже спаты полягали, вертаецца винъ, гуркотыть у двери та крычыть. Я швыдче одчынула двери, достала огню, дывлюся, ажъ зъ нымъ якась женщина въ офицерському убранни. Винъ якъ гукне на мене: „Чого ты очи вырѣчыла? Пошла вонъ, дура!“—Я й пишла до свого покою. Другого дня, за чаемъ, винъ и каже Катруси:

— Знаешъ, серденько, який сюрпризъ зробыла мени сестра? не напысавшы ни слова, взяла та й прыйхала. Отъ така витрогонка. Та ты соби подумай тильки: на перекладныхъ прыйхала; просто гусаръ-баба. Учора, подумай соби: пидходжу я до почтової станціи, дывлюся, стоить билия ворить тройка коней, зовсимъ вже готова. Я зупынився; а ну, думаю, подывлюся, хто такый йихатыме. Дывлься, выходыть дама. Я, знаешъ, трошки тее... Ты выбачъ мени, серденько, така вже клята навчка... Дывлюся, подумай, яка радисть!... то була моя сестра... Ну тутъ мы кынулысь одынъ до одного на груди.

— А я й не видала, що въ тебе йе сестра,—промовила Катруся.

— А якъ же, йе та й не одна ще, а дви. Одна за графомъ Горбатовымъ, вона разъ-у-разъ живе въ столыци,—пры двори. Вона бъ тежъ до мене прыйхала, та, знаешъ, не можно, вона вельмы замитна пры двори. Я тебе заразъ, серденько, зъ своею сестрою познайомлю.

Неначе те полотно зблидила моя бидна Катруся. Вона запевне спостерегла, що то за сестра.... За

хвылыну винъ прывивъ ту сестру; не тямлю, чы молада, чы стара: за бильямы та за румъянамы не можна було распизнаты.

— Отсе,—каже, княжна Жюли Мордатова.—Вона такъ юрливо уклонилася, шось таке промовыла по-московськы, чы може по-польскы, ничего я не розибрала, и Катруся, здається, тежъ, бо й головою до неї не кывнула, а тилькы ще гирше зблудла.

— Ты выбачъ їй, мое серденько, вона въ мене ще институтка, по московськы майже слова не вымовыть, та бачъ, у тому високому свити жадной потреби нема на московську мову. Отъ хочъ про себе скажу: до двадцяты литъ я не вмивъ два слова по-московськы промовыты. У насъ въ Грузіи такъ само, якъ и въ столицы: нихто по-московськы не розмовляе, все по-французькы. Ажъ мы й свое малесеньке пошлемо до столицы, въ институтъ? Правда?

Катруся не спромоглася бильше терпеты. Мовчки встала вона и пишла до дитського покою. Я за нею, а Катерына Лукъянивна лышылася зъ своїмы князямы....

Щаслыва бъ я була, Степановичу, колы бъ забула те, що у насъ діялося въ доми, але жъ Богъ мене покаравъ, не знаю за що, надилывшы мене доброю памъятю.

Писля тієї клятої сестры я ни на одну хвылыну не лышала Катруси, та й вона, моя безталанныця, зъ того часу не выходыла зъ свого покою. Господи, свята велькомученыце Катерыно! Чы ты мучылася

такъ, якъ мучылася моя бидна Катруся? И день було плаче и ничъ плаче, я вже не тямыла, що зъ нею й робыты. Ото жъ вона плакала, плакала та й почала вже въ уми мишатъся. Я хотила дытыну видъ грудей видлучыты, не дала.

— Помру, каже, жупи зъ нею, нехай мене зъ нею въ одну труну положить. Нехай, що хотять, роблять, а я дытны никому не дамъ.

Що жъ мени було робыты? Я такъ и лышала; дывлюся тилькы та плачу. Катерына Лукъянивна тежъ було зайде до нашого покою, гляне на свою княгню та й не вытерпытъ: хочъ яка вона горда була, а заплаче та й выйде зъ покою. А поручъ у другихъ покояхъ писни та музыкы, наче де въ шынку на перехрестному шляху... Ота сестра його, жыдивка Хайка, носытъся зъ драгунамы, спивае, танцюе, та таки выхылясы выробляе, що ажъ гыдко... Навить люльку курыла.

Катруся моя бидна спершу вдавала, що ничего не бачытъ и не чуе, а потимъ вже ий сердешній и терпцю не стало, та що ты робытымешъ зъ такимъ выроdkомъ! У нашої сестры, сказано, тилькы слъозы, самы слъозы, ничего бильшь не лышылося; а слъозы що? вода! Охъ! не одну ричку вылыла вона сіеи гиркои воды, а йому байдуже! Инколы зайде до неи, та ще й пытаецься: „Якъ себе чуешъ?“ Наче йому повылазыло, не бачытъ, що ии ледве ноги носять. „Чы не послаты, дружно моя, въ Козелець до ликаря полкового?“— „Не треба“, промовытъ вона, та й замовкне.— „Ну, якъ соби знаешъ, се твое, а не мое дило, я дс

твоихъ дилъ никола не втручаюся,“—промовыть и пиде соби, стукнувши двермы.

Тилькы намъ и свиту Божого выдко було,—якъ винъ пойдиде куды небудь тыжнивъ на два, або на тры до своихъ товаришивъ—драгунивъ. Тоди мы безъ його пидлогы повымываемо, вышкребымо, покои трохи попровитрюемо; а то просто стайня стайнею. Разъ якось вернувся винъ у-ночи и привизъ другу „сестру“, вже не жыдивку, а польку чы цыганку, хто їи знае, тямлю тилькы, що була вона чорна: хотивъ и сю знайомыты зъ Катрусю, але Катруся його й до покою не пустыла.

Зима пидходила вже до кинця. Саме на середохрести зибралыся наши люде та й прыйшлы громадою прохаты хлиба въ зерни на насиння; кажуть: колы Богъ вродыть, семерыцею вернемо. Куды тоби! слова вымовыты не давъ! Зъ очей прогнавъ ихъ бидныхъ, та ще й собаками нацькувавъ. Хотила заступытыся за людей Катерына Лукъянивна, такъ винъ на неи якъ гукне: „Мовчить, я самъ знаю, що роблю! Я до вашихъ чепшивъ та до спидныхъ не втручаюся, прошу и до моихъ дилъ не втручатся.“ Та се промовывшы, заразы поклыкавъ Яшку и казавъ запрягаты трое коней, щобъ йихаты до своихъ драгунивъ.

Пойихавъ. А Катерына Лукъянивна пишла до клуни, щобъ vybrаты стигъ жыта и пшеныци да велиты змолотыты мужыкамъ на насиння. Гадала вона, що винъ звычайно довго не вернется. Подывылась коло клуни, половыны скурдивъ нема! Де жъ воны поди-

лыся?—пытається вона у токового. А токовой каже, що самъ князь по часткамъ продававъ жыдамъ, та половыну вже й продавъ, и солому и полону, все попродавъ жыдамъ, а жыдъ, звисно, солону драгунамъ, а полону naszymъ же такы мужыкамъ; а вони бидни й соломи ради-радисенькы! Катерына Лукъянивна выбрала одну скирту жыта, а другу пшеници и велила мужыкамъ молотыты: „Та швыдче, каже, молотить, а то вернуться князь, такъ не дасть вамъ ничего.“ Такъ воно й сталося. Другого дня тилькы що распочалы молотыты, ажъ йиде винь. „Що вы робыте, сяки-таки! гукае на ихъ: якъ вы посмилы? хто вамъ веливъ? Я васъ!“ Да якъ выхопытъ у визныка чы у Яшкы нагайку, та якъ кынетъся молотыты молотныкывъ! никого на току не зисталося, уси повтикалы. Уже жъ и Катерыни Лукъянивни перепало! бидна вона тры дни зъ ложка не вставала. Писля сього винь до самыхъ зеленыхъ святъ никуды не йиздывъ, усе дома бенкетувавъ. А на саму зелену недилу пойихавъ кудысь зъ своимъ Яшкою. Катерына Лукъянивна зновъ послала за мужыкамы и велила имъ намолотыты хочъ скильки небудь ярыны на насиння, бо, дякуючы Богови, дощъ перепавъ, и земля добре такы зазеленила. Тилькы що взялыся молотыты просота гречку, ажъ вертається винь, а зъ нымъ драгуни выдымо-невдымо; немовъ та орда за Мамаемъ рыне. Хто на мужыцькому вози, а хто верхы, охляпъ безъ сидла, а бидни деншыкы пишкы, босонижъ, тилькы зъ люлькамы та зъ капшукамы плентаються за своимы драгунамы. Тилькы що переступывъ перигъ, заразы

клькнувъ свого Яшку и каже, щобъ о 3 годни непременно обидь бувъ на 50 осибъ, а вечеря на сотню осибъ. „И обидь и вечерю прылаштуй въ саду; годи, каже, намъ въ отсій стайни валятыся, можна теперь и на пиднижний выйти.“—Та червинцями такъ и брязкае въ кышени. „Да слухай, каже, звелы прыкажчыкови, щобъ вранци усихъ мужыкивъ выгнавъ хлибъ молотыты, треба увесь перемолотыты, скільки йе.“—Оттоди мы догадались, звидкиль у його червинци взялыся. „Не вже жъ такы винъ увесь хлибъ продавъ, каже Катерына Лукъянивна: що-жъ бидни люде посіють?“

А драгунія тымъ часомъ зъ усією мизерією своею, не заходячы до покоивъ, прямо въ садъ, попростягалася на трави, люльку курить та сквернословить, ажъ докы не звеливъ винъ вынести у садъ горилку. Уси столы, стильци тежъ повносылы въ садъ; веливъ бувъ и зъ спальни усє повносыты, та мы замкнулыся и не пустылы до себе. Винъ вылаевся по-свойому по московскы, та й лышывъ насъ. Докы готовылы обидь, драгунія гуляла по садку и пыла горилку. Горилку розстановылы въ великихъ пляшкахъ трохи що не била кожного дерева; инши гости тежъ пылы, въ карты гралы; нашъ князь тежъ пывъ и гравъ; уси червинци, що взявъ у жыда на задатокъ за проданный хлибъ, програвъ. Тоди кынувъ карты объ землю и выйшовъ зъ-за столу, а товариши у-слидъ його зареготалыся. Все отсе я зъ викна бачыла.

Вже смеркалося, колы Яшка зъ деншыкамы почалы лаштуваты обидь; постановылы столы, на столы

положили доски, вкрыли ихъ полотномъ (бо у насъ хочъ и була довга скатертына, та Катерына Лукъянивна не дала, щобъ пьяни гости не понивечылы, а скатертына коштовна); на столи въ трьохъ мисцяхъ постановылы свичкы, а щобъ ще виднійше було, по обохъ кинцяхъ столу постановылы бочки зъ пидъ смолы и запалылы ихъ. Тилькы що драгунія сила за стиль, де не взялася полкови музыкы та якъ уткнути! ажъ земля задрижала. Не перегралы ще вони и одного маршу, дывлюся, клуня наша горыть. Смоляни бочки такъ и сыплють искрамы на скырты та на клуню, а гости, незвычайно пьяни, дывляться, регочуться та гукають: ура!

— Катрусю—кажу я—серденько мое, гляньте! клуня наша горыть! що жъ робытимемо? Дывлюсь, а вона нежыва. Я до Катерыны Лукъянивны, и та безъ памъяти лежыть; я на ней пыркнула холодною водою: очуняла.

— Ратуйте—кажу—Катрусю зъ дытною, а то згорять. Скрыты вже вси загорылыся, отъ-отъ и до дому добереться. На сылу, на сылу мы ии прывелы до памъяти: та пидъ плечи вывелы зъ дому. Я хотила дытну видъ: неи взаты; такъ де! вона ии зъ рукъ не выпустила, тилькы шепче: „Не дамъ, никому не виддамъ, я сама ии поховаю!“—Мы перелякалыся,—такъ якось страшно: вона шепотила. Мы повелы ии черезъ греблю, прямо до васъ, Степановичу, въ хату: дай вамъ, Боже, здоровъя! вже зъ вашои хаты бачыла я оте прокляте пожарыще. Господь його знае, звидишь и витерь той:

взявся: снопы зъ скыртъ такъ прямо на будынки и летать. А якъ занявся будынокъ, витерь нибы трохы переминився, повернувъ на хаты. За хвыльну усе село запалало.—Пропалы мы, кажу я до Катруси; а вона бидна лежить та тилькы головою кывае до мене и языка въ роти не поверне.—Катрусю! Катрусю!—гукую я; не чуе вона. Я стою ни жыва, ни мертва.—Катрусю!—ще разъ гукнула. Вона якъ скочыть, подывылася округъ себе, та якъ кыне на доливку свою дытыночку, якъ закрычыть несамовыто, почала волосся на соби рваты... Бачу я, що вона не въ свойому уми, вынесла я дытynu до другои хаты, а ии мы зъ Стѣпановычемъ сякъ та такъ утыхомырылы, обгорнули ии въ рядно та й почалы лыты ий на голову воду холодну. Прыйшла вона въ себе та й каже: „Не буду, не буду,“ а чого—не буду—й сама не тямьть. Потимъ зареготала, перегодомъ стала спиваты, да такъ жалисно заспивала, такъ страшно, що мы ажъ зъ хаты повибигалы. Отакъ промучылася вона до самого свиту. Передъ зирницею трохы втыхомырылася, а я тымъ часомъ сила билия викна та дывылася, якъ наше бидне село догорае. Тилькы де-не-де дымъ вывся въ гору... бильшь ничего не лышылося. И будынокъ, и кухня, и все село пропало, лышылыся дымари та печи зъ панського будынку; а зъ мужычыхъ хатъ и того не лышылося, бо у ныхъ дымари не зъ цеглы. Садъ лышывся, та й той почорнивъ видъ дыму: стоить соби осторонь, такий чорный та страшный, що й дывытыся на його бо-

язко. Заплакала я гришна, дывлячыся на пожарыще...
 Що будемо робыты? На все Ёго свята воля!

Розбудыла я Катерыну Лукъянивну та й кажу до
 неі: „Що мы теперъ робытымемо? куды мы динемося
 зъ нашою Катрусею? де захыстокъ знайдемо?“—„А
 хиба що?“—каже вона.

— „А те, кажу я до неі, шо Катруся не въ свой-
 ому розумі, збожеволила.“—„А дытына?“—пытаеть-
 ся?“—„Дытыну, кажу, я видъ неі взяла, бо вона трохы-
 трохы не задушыла іі.“

Скочыла вона та простоволоса на двіръ вы-
 бигла, гукае, щобъ брычку швядче запрягалы. Побачыла,
 шо двіръ чужый, вона й замовкла; подывылася
 на той бикъ греблі, охнула, затремтила та мовъ не-
 жыва и впала до мене на руки. А якъ очуняла, то й
 пытаецца у мене: „А де-жъ княгыня? (вона все іі
 такъ называла) покажы мени іі.“ Пишлы мы до ко-
 мору, де була замкнена Катруся. Входымо: сыдыть
 вона на доливци, въ одній сорочци, распатлана, уся
 немовъ огонь горыть, хочъ въ комори було доволи
 такы холодно; въ рукахъ у неі зибгана сукня; вона
 іі до грудей тулыть. Подывылася вона на насъ та ны-
 щечкомъ и промовыла: „Спыть, спыть, не розбудить.“
 Мы зъ комору, страшно було дывытыся на неі. А Ка-
 терына Лукъянивна байдуже и не зитхнула навить. А
 вже ніхто, якъ вона всьому лыху прычыною ста-
 ла. Не осуды іі, Господы, на Твоёму праведному
 суди!...

Помовчавшы, вона повернулася до мене та й каже: „Марыно! треба де небудь достаты брычку и коней, та видвезты ии до Черныгова або до Кыива. До Кыива, здається, близьше, але де жъ мы запобижымо брычку та коней.“ „Хочъ бы воза якого! Киньмы, кажу я, Степановычъ зарадыть, тилькы брычки у його нема, лышень простый визъ...“ „Попросьы, каже, хочъ простого воза.“ Я выпрохала у Степановыча, спасыби йому, и воза и коней; намостылы на вози сина, покрылы ряденцемъ, положиы ии бидну на вози; биля неи сила Катерына Лукъянивна... та й повезлы до Кыива до Кырловського манастыря... Отъ тоби, Катерыно Лукъянивно, и княгinya! Любуйся теперь зъ неи!

Бабуся замовкла и нышкомъ заплакала, а господарь мовывъ:

— Такы ничого казаты: добра княгinya.

— А зъ княземъ що сталось?—спытавъ я.

— Господь його знае,—видповила бабуся. Передъ Петромъ драгуня зъ Козельця рушыла въ похидъ; такъ, може, и винъ зъ нею... тилькы мы його зъ тией страшеной ночи не бачылы вже.

— Добрый и князь! ничого казаты,—додавъ господарь; хочъ бы до дытны, навидався, проклятый!

— Господь зъ нымъ! нехай липше не видвидуе,—мовыла бабуся и, выходячы зъ хаты, побажала намъ на добраничъ.

Другого дня вранци, докы мій жыдокъ пидмазувавъ брычку та запрягавъ своихъ сухоробрыхъ коней, я сядивъ на прызби пидъ хатою и дыввся на той бикъ Трубайла, на сумни останкы погорилого села. Мымоволи вырвалося у мене: отъ тоби и село! отъ тоби и идилія! отъ тоби и патріархальни звычай! Отаке зрывалося у мене зъ языка, докы брычка не высунулася на улыцю. Подякувавшы господареви за його безкорыстну гостынність, я рушивъ своимъ шляхомъ.

За килькы днівъ бувъ вже я у Кыиви и, поклонившысь св. угодникамъ печерськымъ, того самого дня навидався въ Кырыловський манастырь. Овва! лише бѣ було не навидуватыся: тамъ я занадто вже запевниввся въ гиркій правди сумного оповидання сього, що такъ журливо повытало мене на мой любій ридній краини...



Ломылкы друкарськи.

Сторона.	Рядокъ.	Надруковано.	Треба.
3	7 з-горы	буркамъ	буркомъ
17	11 "	надіи	на діи
27	3 з-нызу	само стійнымъ	самостійнымъ
43	12 "	„крагы“	„крамъ“
"	1 "	тазь	та зъ
49	3 з-горы	зайвато	зайва, то
66	6 "	арестувавъ	атестувавъ
"	11 з-нызу	думу	душу
78	8 з-горы	забувала	забувати
88	11 з-горы	складалось	складалась.
"	11 з-нызу	моралійныхъ	моральныхъ
107	9 "	покупкы	пакункы
"	12 "	покупку	пакунку
154	2 "	Ктанивського	та Кленивського
"	12 "	сподива	сподивалася на
175	13 "	воеи	своеи
177	4 з-нызу	шановка	шановна
205	10 з-горы	краеюкомъ	красюкомъ
209	1 "	тевинъ	те винъ
212	6 "	роспытуе, таты	роспытаты
235	1 з-нызу	перигъ	поригъ



PG 3948

S5A15

1901

v. 2



3 0000 005 038 124

